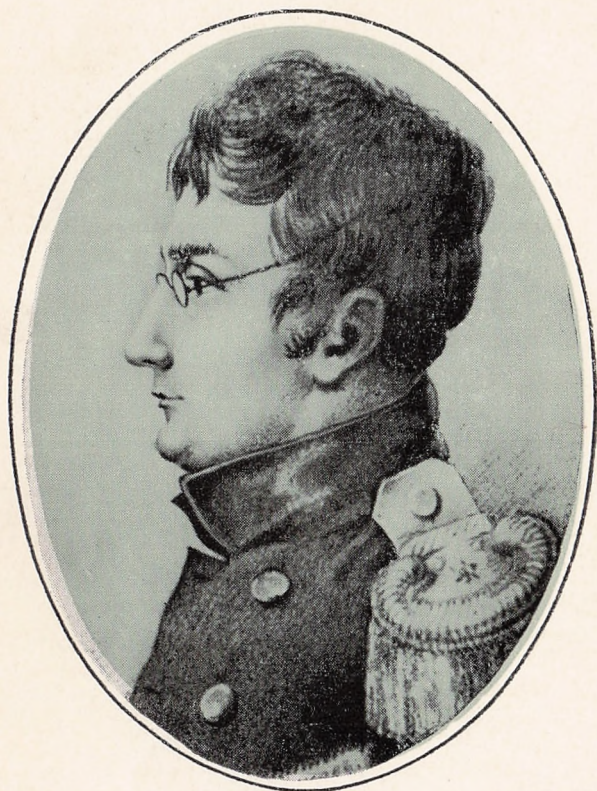


А. А. ИЛЮШИН



Поэзия
декабриста
Г. С. Батенькова





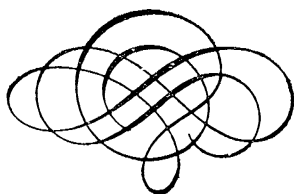
REINHARD LAUER

А. А. ИЛЮШИН
ПОЭЗИЯ
ДЕКАБРИСТА
Г. С. БАТЕНЬКОВА



А. А. ИЛЮШИН

Поэзия
декабриста
Г. С. Батенькова



*Издательство
Московского университета
1978*

*Печатается по постановлению
Редакционно-издательского Совета
Московского университета*

Рецензенты:

кандидат филологических наук
В. Н. ТУРБИН;
кандидат филологических наук
А. В. ЛИПАТОВ

Илюшин А. А.

Поэзия декабриста Г. С. Батенькова. М., Изд-во
Моск. ун-та, 1978
166 с.

В книге дан очерк жизни и творчества поэта-декабриста Г. С. Батенькова (1793—1863). Собраны и прокомментированы тексты его стихотворных произведений, значительная часть которых публикуется впервые.

Цель настоящей книги — вернуть истории русской литературы одного «потерянного» и забытого поэта, чьи до сих пор не опубликованные стихи заслуживают внимания исследователей и любви читателей. Имя его — Гавриил Степанович Батеньков. Известный декабрист, отважный борец с самодержавием, глубокий и оригинальный мыслитель, человек загадочной и трагической судьбы... И — поэт.

В 1975 г. исполнилось 150 лет со дня декабрьского восстания 1825 г. Что за люди были декабристы, чем обязано им последующее освободительное движение в России и отечественная культура — все это хорошо известно. Но, многое зная о героях того времени, мы пока знаем о них далеко не все. В частности, недостаточно полными являются наши представления о творчестве поэтов-декабристов. По крайней мере, это относится к Батенькову и его литературному наследию.

В этой книге собраны все дошедшие до нас стихотворения Батенькова, и нам хотелось бы, чтобы читатель видел в ней не только литературоведческую монографию о поэте, но и собственно книгу стихов русского поэта, оснащенную комментариями и очерком о его творчестве. Таким образом, предлагаемая монография явится источником для возможных будущих изданий стихотворений Батенькова, будь то полное собрание или же избранные произведения поэта-декабриста.

Если бы современники Батенькова, читатели и почитатели Пушкина, Лермонтова, Некрасова, были знакомы со стихотворениями декабриста, они, скорее всего, отнеслись бы к его поэзии равнодушно, а то и насмешливо, при всем уважении к нему как к герою и страдальцу. «Запутанно и коряво» — такая приблизительно была бы оценка. Вероятно, Батеньков чувствовал это и не стремился публиковать свои стихи. О «лаврах» В. К. Тредиаковского и С. Боброва он не мечтал. Но прошло время, и творчество того же Тредиаковского, многократно осмеянное за «бездарность», предстает перед нами совсем в ином свете.

Сходная участь, по-видимому, уготована и наследию такого замечательного поэта, как С. Бобров. Батеньков — из их числа. Может быть, даже жаль, что при жизни, скрывая свои сочинения, он не стяжал себе репутации нового «Тресотинуса» или «Бибриса»

(презрительные прозвища Тредиаковского и Боброва), — эффектнее было бы его возвышение сейчас: не от нуля, а от какого-то минуса. Да и нам было бы легче брать под защиту нечто осмеянное (и уже потому многим знакомое), опровергать доводы недальновидных хулителей, нежели извлекать из неизвестности поэта, не имеющего вовсе никакой литературной репутации.

И все же мы надеемся, что необычные стихи Батенькова найдут отклик в сердцах и умах наших современников.

Часть первая



**Очерк
поэтического
творчества**





Памятник Г. С. Батенькову в Томске

ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА ПОЭТА-ДЕКАБРИСТА

Гавриил Степанович Батеньков внес значительный, но «незримый миру» вклад в историю нашей поэзии. Некий промежуток времени, начиная со второй половины 20-х годов XIX в., можно было бы назвать расцветом его творчества, если слово «расцвет» вообще применимо к человеку, двадцать лет проведенному в одиночном заключении. До 1825 г. Батеньков писал шуточные стихотворения, или — лучше сказать — стихотворные шутки: веселые двустишия, игривые миннаторы и даже, как это ни странно, жизнерадостные эпитафии. Между тем это был вполне серьезный, солидный человек с серьезной, солидной специальностью (военный инженер-путеец) и, кроме того, — отважный и заслуженный герой Отечественной войны. Он был многосторонне развит, дружен со многими высокопоставленными людьми. Неизвестно, во что бы вылилась его склонность к юмористическому стихотворчеству, если бы он не вступил в Тайное общество и не оказался бы в тюрьме на долгие годы.

Батеньков — декабрист в полном смысле этого слова. Если вдуматься, оно очень емкое; за ним — большая жизнь, вместившая в себя много событий и тревог, исполненная творчества, борьбы и страданий. Декабрист — это человек, переживший военные грозы 1812 г., искания истины — сначала в масонских ложах, а потом в тайных обществах, роковой день 14 декабря, заточение, допросы, каторжный труд, сибирскую ссылку и поселение, затем возвращение в Европейскую Россию после амнистии 1856 г. Это основные вехи в биографии почти любого декабриста, отвлекаясь от всего частного и индивидуального, — ведь главное содержание его жизни и литературной деятельности, если он ею занимался, — освободительное движение в России и жестокая расплата за личное в нем участие. Таковы они, декабристы, самые романтические люди самой романтической эпохи в нашей истории.

В типично «декабристской» биографии Батенькова имеются некоторые как бы отклонения от общей нор-

мы, придающие его судьбе более зловещий и трагический колорит сравнительно с судьбами многих его собратьев по борьбе с самодержавием. Он столько перенес и выстрадал, что его несчастий хватило бы на несколько горестных человеческих жизней. Мы не будем подробно излагать биографию Батенькова, имея возможность отослать читателя к содержательной книге ученого-историка В. Г. Карцова¹ (вообще Батеньков как исторический деятель значительно более известен, нежели Батеньков-поэт). Но нельзя не коснуться нескольких наиболее драматических моментов в его злоключениях — это поможет почувствовать своеобразие незаурядной личности поэта.

Сначала — об одном странном случае, происшедшем в детстве: ребяческий «заскок», в котором заключено однако же нечто многозначительное. Вот что гласит предание, сохранившее для потомков этот примечательный эпизод: «Родители Батенькова были люди очень религиозные и не только сами часто ходили к разным церковным службам и посылали туда своих детей, но и дома нередко вели беседы о разных подвижниках. Рассказы о них настолько сильно овладели воображением юного Батенькова, что он решился однажды избавиться от вечных мук ада, перспектива которых его сильно страшила. Образцом был взят Даниил Столпник, подражая которому Г. С. взобрался на один из столбов забора в огороде, с твердым намерением простоять на нем всю жизнь. Подвиг был вскоре замечен, и юного подвижника, почти потерявшего сознание, с большим удивлением сняли с забора»². Таким был один из эпизодов в детстве человека, которому впоследствии придется «прожить век на 6 квадратных саженьях», как напишет он много лет спустя в заточении.

Двадцатилетним юношей, скитаясь по Марсовым полям Европы, охваченной вихрем наполеоновских войн, Батеньков проявил отличную храбрость и мужество. «В 1814 г., в одном сражении, получил более десяти ран. Французы уносили мертвых и раненых, когда он

¹ См. Карцов В. Г. Декабрист Батеньков Г. С. Новосибирск, 1965.

² Собрание стихотворений декабристов, т. 1. М., 1906, с. 273—274.

собрал последние силы и сделал движение, чтобы показать, что он жив. Крепкая природа все перемогла»³. Жест очень характерный, батеньковский: на грани смерти, когда, по его словам, «жизнь тихо теплится и тает», последним сверхмерным усилием означить сомнительный факт своего — вопреки всем враждебным силам — существования.

После войны — занятия науками, служба, масонство, наконец Тайное общество. Известны честолюбивые замыслы Батенькова-заговорщика. В голове его роились планы, проекты будущего устройства России, и в себе он ощущал силы и способности, необходимые для осуществления этих планов. Ему отводилась очень видная роль в предстоящей организации нового правления — в том случае, если восстание победит. Советские историки, в их числе В. Г. Карцов, на книгу которого мы уже ссылались, подробно рассматривали вопрос о том, почему Батеньков не вышел 14 декабря на Сенатскую площадь (при этом, правда, учитывается и то, что в этот роковой день он решительно отказался присягать Николаю I). Согласно показаниям Рылеева, в доме которого вечером 14 декабря собралось несколько декабристов и среди них Батеньков, вопрос этот затрагивался уже тогда. Подробностей история не сохранила. Но так или иначе, этот не до конца проясненный факт не бросил никакой тени на репутацию Батенькова-декабриста. Ни о растерянности, ни тем более об отступничестве не было и речи.

Через две недели Батеньков арестован. Начались допросы. Декабрист стойко защищался и давал не те показания, каких от него ждали. Раздраженный его упорством, Николай угрожал самым худшим, но сломить заключенного не удалось. Он не только не осуждал себя и других «преступников», но с гордостью писал в показаниях о первом опыте политической революции в России, прославлял ее героев и признавался в том, что после неудачи 14 декабря хотел сделать такое же «покушение» через несколько дней.

³ «День», № 45, 1863, 9 ноября. Некролог о Батенькове. Автор — П. И. Бартенев, как установил в 1866 г. С. Д. Полторацкий, в архиве которого имеется вырезка из указанной газеты (ГПБ, ф. 603, № 25).

Итак, Батеньков арестован: Петропавловская крепость, крепость Свартгольм в Финляндии, потом — с 1827 по 1846 г. (всего двадцать лет!) — снова Петропавловская. Странно прозвучит, но счастливы декабристы-каторжане, дружной семьей жившие и работавшие в забайкальских рудниках! К ним «сквозь мрачные затворы» проникали лучи любви и дружества, к ним приезжали жены, в «каторжных норах» поддерживалась атмосфера бодрости и надежды на лучшее. Хуже других пришлось В. К. Кюхельбекеру, который долгие годы оставался узником в крепости:

Свинцовых десять лет, как в гробе, протекло;
Однообразный ход часов без измененья
До срока инеем посыпал мне чело
В глухих твердых заточенья⁴.

Батеньков же провел в одиночной камере не десять, а двадцать свинцовых лет...

По сей день неясно, почему же так получилось — такой непомерно долгий срок. Озлобленность царя? Правда, тому было на что злиться. Батеньков в письмах к Николаю называл последнего дураком и свиньей, что было слишком уж обидно. Есть и еще одно обстоятельство: Батеньков — друг М. М. Сперанского, а тот имел самое непосредственное отношение к следствию по делу декабристов и боялся огласки: вдруг обнаружится, что он, видный сановник, покровительствовал одному из опаснейших государственных преступников. Сперанскому выгодно было, чтобы Батеньков канул в неизвестность, в непроницаемую камеру, исчез бесследно. Так и было сделано. И, наконец, высказывалась гипотеза, согласно которой многолетнее заточение декабриста было добровольным: мог бы и не сидеть, но сидел, а когда захотел выйти из тюрьмы, — вышел и поехал на поселение в Сибирь. Гипотезу эту отвергают современные историки: неправдоподобно, бездоказательно, похоже на легенду.

Все это так, однако и легенда, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания. Ведь нас в данном

⁴ Кюхельбекер В. К. Избр. произв., т. 1. М.—Л., «Сов. писатель», 1967, с. 303.

случас интересует не просто биография Батенькова — человека, общественного деятеля, декабриста, а биография Батенькова-поэта. Преимущественное внимание уделяется тем фактам и чертам его жизни, которые поэтически значимы, насыщены неким эмоционально-лирическим содержанием и пафосом, сами по себе звучат как стихи, как песнопения. Без легенд тут не обойтись, тем более что каждый поэт достоин того легендарного ореола, которым его окружили и окружают. Итак, парадоксальная, даже несколько сбивающая с толку версия о добровольном двадцатилетнем узничестве: как к ней отнестись?

Пережив душевное потрясение, отчаяние, крах надежд, надлом, Батеньков действительно мог стремиться к длительному уединению. Он чувствовал себя разбитым и должен был из осколков вновь склеивать свое «я», пересоздать себя и свой мир. Это и был для него путь к поэзии, к стихотворчеству. Усердное покаяние и благонамеренное поведение после ареста, возможно, спасли бы декабриста от столь суровой кары, но каяться он не стал и благонамеренности не проявил. Остался-таки один, погрузился во мрак. Следовательно, добился того, чего хотел? Если это так, то дорого же заплатил он за удовлетворение этой странной потребности!

Батеньков был близок к самоубийству. Перенес тяжелую душевную болезнь, временами принимавшую особенно острые формы. Он сочинял стихи, которые до поры до времени не мог записать на бумаге и вынужден был хранить в памяти. Или же откуда-то раздобытым гвоздем писал их на стене камеры. «Ему иногда казалось, что несколько месяцев он стоит на молитве, не принимая никакой пищи; о многом совершенно потерял понятие и позабыл некоторые слова»⁵.

Из книг разрешалось читать только Библию, причем на разных языках, чем и воспользовался Батеньков. Для него это было своеобразным лингвистическим упражнением: закреплять свои знания знакомых языков и овладевать незнакомыми. Наряду с этим Батеньков так вжился в мир библейских образов, символов, что это заметно сказалось на всем строе его мышления.

⁵ Собрание стихотворений декабристов, т. 1, с. 278, 279.

Мало-помалу условия узнической жизни изменялись. Регулярно выводили на прогулки, но так, чтобы заключенный ни с кем не встречался и не разговаривал. На одной из прогулок Батеньков посадил яблоню. Она выросла, узник через несколько лет дождался даже плодов.

Постепенно он успокаивался, однако болезнь все-таки давала о себе знать. Экзальтированный восторг, ликование и упоение «великостью» мироздания чередовались с приступами отчаяния и безутешной скорби. Батеньков много думал. Впоследствии он скажет, имея в виду тюремный период: «Я много мыслил...». Далеко не все мысли в стихах и прозе удалось потом припомнить, многое оказалось невозвратно забытым. Ясно одно: то была интенсивная, лихорадочная работа одинокой мысли.

Доминирующей идеей, кажется, была идея миротворчества. У человека отняли мир — и он творит свой собственный, трудится над созданием его модели, чертежей: какие-то символы, условные обозначения, округлости, туманности, числа. Творец, созидающий (хотя бы в своей душе или в уме) новый мир, чувствует себя богом. Это ощущение знакомо Батенькову. Но божественность божественностью, а здравый-то смысл нет-нет да и шепнет узнику, что жалостно и безотраднo его тюремное существование. «Я пишу из могилы», — гласит страшная запись, сделанная им в крепости.

В последний период своего заточения Батеньков, получив возможность писать, вел тюремный дневник. Сохранившаяся до наших дней (но почему-то не привлекавшая внимание исследователей) тетрадь с заметками декабриста получила название «Писания сумасшедшего Гавр. Степ. Батенькова в крепости 1845 г.»⁶. Кем оно дано? Вероятно, одним из тех, чьи глаза и уши тайно следили за поведением узника. Этот бесценный человеческий документ мы так и будем называть: «Писания сумасшедшего» — созвучно названию известной гоголевской повести, о которой невольно вспоминаешь, когда листаешь тетрадь Батенькова.

«Милостивые государи! — обращается узник к своим мучителям... — Смотрите, как ловко обошло вас тай-

⁶ ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 133.

ное общество. Все, что вы запрещали, оно и вошло в науку... Вы 500 полковников (всю Россию) заперли в П.-Павловскую крепость. Что же вы сами-то были? — Следственный комитет. А средства ваши?.. Хромой комендант, безграмотный плац-майор и два голодных адъютанта. А над вашим «строжайше...» даже насмеялись. Ведь у вас секретно... А на стенах-то в крепости? А зеленая книга? Даже П-бургские газеты с разграфленными списками: № 52 — Штейнгель и проч. Усмотреть ли коменданту за нами?». И далее, еще выразительнее, в приливе гордого и скорбного чувства: «Безумные вы люди! Ведь мы выдумали телеграф, светопись, гальванизм, камеру-обскуру, пароход, да, правду сказать, и все, чем вы от крупниц наших питаетесь... Как же вам нас уничтожить?». Батеньков с полным основанием говорит от имени тех «пятисот» избранников-страдальцев, которые много сделали и еще сделают для блага отечества, но которых неблагодарное и недальновидное правительство держит взаперти. И завершается этот язвительно-патетический монолог опять-таки конвульсией поприщинского безумия, своего рода «алжирским беем»: «...как же вам нас уничтожить? Мы продадим вас и выкупим».

Что это: подлинное безумие или своего рода стилизация? Мы далеки от намерения ставить какой бы то ни было «диагноз», вдаваться по данному поводу в проблемы медицины. Важнее другое. «Безумец» — так же как и узник (а в батеньковском варианте одно дополняется другим: «узник одичалый») — в декабрьскую эпоху становится одной из заметных разновидностей романтического героя. Теме романтического безумия отдали значительную дань и Пушкин, и Тютчев, и Лермонтов, не говоря уж о поэзии декабризма. В этом смысле Батеньков и как личность, и как поэт вполне естественно «вписывается» в общий контекст той литературной эпохи. Более того, амплуа «безумца» позволяет ему «на равных», а подчас дерзко и даже свысока беседовать с сильными мира сего — с вельможами, с царем, да и самим господом-богом. Правда, ему, как и многим заключенным и ссыльным декабристам, не раз приходилось искать утешения в религии, что вполне объяснимо в условиях того времени, однако именно в той самой атмосфере безумства, о которой

идет речь, оказывались возможными неожиданные и причудливые превращения. Та же религиозность вдруг оборачивалась чем-то противоположным — духом демонического богоборчества: Батеньков роптал, бросал грозный вызов небесным силам. Показательна в этом отношении одна из записей в его тюремной тетради:

«Вчера я угорел. Все меня окружающее мучило меня. Я мрачно смотрел на вселенную и роптал на творца. Казалось мне ничтожество мирской твари самую непостижимою и горькою истиною. Зачем творит он нас? Зачем мы живем?.. Дух жестокий! — взывал я к причине бытия моего, — прекрати дальнейшее наслаждение моими и всей твоей твари страданиями. Уже видим мы, что можем обойтись без жизни.

Творишь для временных мучений и бесконечного ада и в жестокости своей манишь нас какими-то обещаниями, очевидно, несбыточными и несообразными. Всемогуший по самобытности, безжалостный по естеству, не злой, не добрый, ты избрал, однако же, зло... Да. Зло избрал ты и творишь добро для того только, чтобы проявить зло явственнее и неотвратимее. Как возможно человеку выйти из такого состояния?

Уже проклят день моего рождения».

Узник, мучимый «двадцатилетним голодом» («Если б я любил отечество одним граном менее, то уже погиб бы»), помнит о том, что за глухими стенами крепости остался мир: города, реки, люди. Видения этого недоступного мира иногда всплывают в воображении несчастного, и он спешит удержать их, разглядеть, понять: «Смотри... речка течет; на той стороне город. Здесь длинная линия домов до конца города изогнулась...». Но видения вскоре рассеиваются, и вновь Батенькова томят угар отчаяния и чувство безысходного одиночества.

Исписав 70 страниц мелким, убористым почерком, сбивчиво и непонятно изложив свои взгляды по актуальным научным и государственным вопросам, Батеньков подводит черту: «В сих бумагах я изложил сколько можно простее, собственно для вас, отцы, о состоянии науки в наше время. До вас ничего не доходит. Наука дважды и трижды перешла уже царскую высоту, однако же к государю не вступило ни одного доклада ни о состоянии науки, ни о разрешении ее затруднений.

Есть у нас министерство, да оно занимается только внешней стороной, а с вашей стороны была только пока полиция над наукой».

В том же году, каким датированы «Писания сумасшедшего» (1845), Батеньков переступил, наконец, тюремный порог. Произошло это ночью, чтобы никто в Петербурге не видел «освобожденного» декабриста, которого тут же отправили в дальнюю дорогу — в Томск на поселение. Первое (после двух десятилетий узничества) утро под открытым небом застало Батенькова уже далеко от столицы. Проезжали мимо какого-то села. По дороге шла незнакомая женщина. Почему-то лошади остановились, Батеньков сошел на землю, приблизился к прохожей женщине и вдруг, неожиданно для самого себя, поцеловал ее: она была первым человеком внетюремного, внежандармского мира, встретившимся ему на воле.

В Томске, на берегах родной реки, Батеньков почувствовал себя лучше, возвращение «на обыкновенную колею человеческой жизни» подействовало благотворно. Он восстановил прежние и завязал новые знакомства, приступил к научным занятиям. Жил в деревянном доме, который называл «соломенным дворцом» (построил его сам), за городом.

Впрочем, это «благополучие» было, скорее, кажущимся, чем подлинным. И дело здесь не столько в серьезных материальных затруднениях, которые испытывал сосланный на поселение декабрист, сколько в душевном состоянии. В тюрьме он писал о выпавших на его долю душевных бурях. Они не утихли на свободе. В известном смысле Батеньков оставался «демонической личностью», сложившейся в эпоху романтизма и под воздействием исключительных обстоятельств — борьба с роком, мрак темницы, холод одиночества и пр. Отметим, что уже в наше время в Томске поставлен памятник Батенькову (работы скульптора С. Данилина), запечатлевший подлинно «демонический» облик отверженного изгнанника⁷.

«Демонизм» — своеобразная разновидность отношения к действительности русского дворянского общества,

⁷ Репродукция этого памятника впервые появилась в кн.: Памятники Сибири. М., «Сов. Россия», 1974, № 33.

известная в XIX в., так же, как, допустим, байбачество (обломовщина), коммийфотство и пр. У нее — свои атрибуты, свой набор определенных этических ценностей, своя атмосфера. В этой атмосфере вершатся горькие обеты безбрачия или же, наоборот, беснуется необузданная козлиная похоть, здесь царствует вечный холод отчуждения и одиночества, здесь судороги безумия и диалог с космосом. И, конечно, многое другое, но мы стараемся фиксировать главным образом то, что имеет отношение к Батенькову.

В своем «соломенном дворце» он, как и прежде, когда был узником Петропавловской крепости, чувствовал себя беспредельно одиноким. Жить с людьми, быть просто одним из них — не в этом он видел свое предназначение. Скорее в том, чтобы наблюдать за звездами небесными (астрономия — любимая наука) и беседовать с ними на непонятном языке каких-то чисел и символов. Земля — лишь временное пристанище, пылинки в космосе: хороши на ней лишь ясные ночи, когда взору открываются космические пространства; хороши и суровые сибирские зимы — сопричастны мертвящему вселенскому холоду.

Женщин Батеньков по возможности избегал, по собственному признанию, «влюблен никогда не был». Правда, жила в Томске некая О. П. Лучшева. Впоследствии она даже поехала за Батеньковым в Европу, когда он покинул Сибирь. Известны и любовные стихи поэта, может быть, адресованные ей.

Было уже сказано, что на воле Батеньков почувствовал себя лучше. Это было неплохое для поэта время — с апрельскими купаниями в Томи, с бессоницей в лунные морозные ночи. Впереди не так уж мало лет жизни, силы постепенно восстанавливаются, есть надежда наверстать упущенное и вновь стать полезным обществу. Десятилетний томский период закончился в 1856 г. — год амнистии: можно переезжать в Европейскую Россию, в любое место за исключением столиц.

Батеньков воспользовался этим правом и навсегда уехал из Сибири. Последние годы он жил в Калуге и Белевском уезде Тульской губернии, где после тридцатилетней разлуки встретил духовно близкую ему женщину — А. П. Елагину (в первом браке Киреевская — мать знаменитых славянофилов).

В это время Батеньков много путешествовал. Он ездил в Москву, в Петербург, в Варшаву. Многие современники, в том числе и младшие, находили в старом декабристе глубокий и острый ум, сказывавшийся в его суждениях на разные темы. Иных, по-видимому, раздражал глухой, менторский голос Батенькова, всегда имевшего слишком определенное и резкое мнение по любому вопросу. Несколько старомодная манера мыслить и говорить, некоторая склонность к резонерству, очевидная несостоятельность многих попыток активно включиться в деятельность на поприще общественных проблем 50—60-х годов — все это, конечно, могло вызывать известную антипатию к Батенькову в людях, так или иначе с ним сталкивавшихся: «ископаемый» старик, чудом перенесенный из далекого прошлого в новую жизнь, которую невозможно постичь, подходя к ней с прежними критериями... Собственно, в какой-то мере это относится ко всем декабристам, вернувшимся в Европейскую Россию после амнистии.

Сохранился фотографический портрет пожилого Батенькова: упрямо поджатые губы, взгляд непреклонный, руки скрещены на груди — впечатление неприступности (словно не человек, а крепость!) и какой-то невосприимчивости к новым веяниям. А ведь жажда воспринимать это новое, дышать им и жить, несомненно, мучила Батенькова — и ей суждено было остаться неутоленной. В уже цитированном некрологе 1863 г. (Батеньков умер в Калуге 70 лет от роду) сказано, в частности, следующее: «Грустно было смотреть на это неудавшееся существование, на обилие даров, оставшееся бесплодным, на эту неудовлетворенную, но не угасшую до последнего часа жажду деятельности, на эту громадную силу духа, пораженную бездействием, тоскующую, недоумевающую — куда себя девать, что с собой делать. Теперь она отошла, успокоилась эта сила».

Полувековая творческая активность Батенькова, несмотря на все вставшие перед ним препятствия и постигшие его неудачи, все-таки не была бесплодной. Он оставил капитальные труды в разных областях знания (точные науки, этнография, языкознание и др.), причем некоторые из его работ были опубликованы. Весь этот материал если и не изучен со всей основательностью, то по крайней мере учтен историками и биографами.

Хуже обстоит дело со стихами Батенькова; история литературы обошлась с ними несправедливо, не включив имя их создателя в блистательный ряд имен крупнейших поэтов-декабристов: Рылеева, Кюхельбекера, Бестужева-Марлинского, Одоевского, Глинки, Катенина (Батеньков поставлен как бы несколькими ступеньками ниже этих маститых поэтов). Впрочем, Кюхельбекера пришлось «открывать» заново уже в наше столетие — задача, с решением которой в свое время столь успешно справился замечательный исследователь Ю. Н. Тынянов.

Ждет своего «открытия» и поэзия Батенькова, очень своеобразная, нелегкая, негладкая и отнюдь не бедная высокими достижениями и ценнейшими находками.

Итак, печальна судьба поэтического наследия Батенькова. Опубликовано лишь одно его крупное, законченное произведение — лирическая поэма «Одичалый», и еще — разрозненные отрывки из других произведений. Неопубликованные рукописи хранятся в библиотеках и архивах Москвы и Ленинграда.

Глава 2

«ОДИЧАЛЫЙ»

Посвящая стихотворению «Одичалый» отдельную главу, мы имеем в виду, что это лучшее произведение Батенькова. Да это и самое первое его серьезное произведение — предшествующие ему рифмованные наброски едва ли стоит принимать всерьез. К тому же «Одичалый» бросает свет на тот период в жизни декабриста, о котором мы знаем менее всего: пребывание в финляндской крепости Свартгольм, расположенной на Аландских островах. Этой крепости теперь нет, она была разрушена еще в XIX в. И как жилось там узникам, мы можем представить очень приблизительно: слишком мало свидетельств. Намного ярче вырисовывается картина пребывания Батенькова в Петропавловской крепости — документальных данных для этого хватает. А Свартгольм приходится видеть только так, как описано в «Одичалом». Зато уж эта маленькая поэма (или

большое стихотворение) томов премногих тяжелей во всех отношениях.

Уже говорилось о том, что поэма «Одичалый», представляющая собой трагическую исповедь одинокого узника, опубликована. Справедливы ли в таком случае наши ламентации по поводу исторической несправедливости, постигшей поэтическое наследство Батенькова: лучшая вещь доступна широкому кругу читателей — на что же тогда жаловаться? Оказывается, есть на что. Скользким и щекотливым является вопрос: Батеньков ли автор «Одичалого»? Нам еще придется доказывать, что поэма действительно принадлежит его перу. Хотя она не раз перепечатывалась в разных поэтических сборниках под его именем и у издателей не возникало сомнений относительно его авторства, все же данная проблема не является бесспорной и окончательно выясненной. На ее спорность впервые указал Т. Г. Снытко⁸. В своей работе о Батенькове он не рассматривает текст «Одичалого», полагая, что «принадлежность этого стихотворения Батенькову документально не доказана».

Сомнение, высказанное Т. Г. Снытко, не передалось другим исследователям. В. Г. Базанов, вернувшийся к вопросу о том, Батеньков ли автор «Одичалого», решает этот вопрос положительно⁹. В. Г. Карцов в своей книге, на которую мы ссылались, считает Батенькова автором «Одичалого». С. А. Рейсер, подготовивший в большой серии Библиотеки поэта сборник вольной русской поэзии¹⁰, включил в него поэму «Одичалый», несколько не усомнившись в авторстве Батенькова. Мы тоже убеждены в том, что «Одичалый» написан Батеньковым и никем иным, но, считая, что одних убеждений (даже самых твердых) недостаточно, вновь вернемся к данному вопросу как к нерешенному и приведем наибо-

⁸ См. Снытко Т. Г. Батеньков-литератор. — «Литературное наследство», т. 60, кн. 1. М., 1956. Будучи склонным отрицать принадлежность «Одичалого» Батенькову, Т. Г. Снытко в то же время опубликовал некоторые неизвестные ранее стихи поэта-декабриста по имеющимся в архиве автографам.

⁹ См. Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М.—Л., «Наука», 1961, с. 214—218.

¹⁰ Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX в. Л., «Сов. писатель», 1970.

лее веские из имеющихся аргументов в пользу авторства Батенькова.

Автограф «Одичалого» не сохранился. Впервые опубликована поэма при жизни Батенькова — в 1859 г., в «Русской беседе», т. 3, кн. 15, с криптонимом О—Е—А (гласные фамилии Батенькова, поставленные в обратном порядке). Указано место создания поэмы — крепость в Финляндии. Сохранилась писарская наборная рукопись «Одичалого»¹¹ с редакторской правкой. Рукою писаря в конце рукописи обозначено: «Б. (начальная буква фамилии Батенькова. — А. И.), Шварт-Гольм, май 1827 г.». Синим карандашом зачеркнута буква «Б», поставлен криптоним О—Е—А, зачеркнута дата и поставлено неопределенное «18..». Наконец, вычеркнут Шварт-Гольм и написано: крепость в Финляндии. Все это не оставляет никаких сомнений в том, что редакция «Русской беседы» считала Батенькова автором «Одичалого» и сознательно, по тем или иным причинам, скрыла его авторство.

В ИРЛИ, в личных фондах некоторых декабристов, сохранились списки поэмы «Одичалый», где автор назван полностью (Батеньков), место указано точно (Швартгольм) и датирована поэма маем 1827 г. Один из списков поэмы принадлежал ближайшему другу Батенькова — декабристу В. И. Штейнгелю, копия этого списка имеется в сборнике М. И. Семевского. Другой известный нам список — из архива Бестужевых. Третий — неполный, начинается стихом «Земля смешается с землей» — в архиве С. Г. и М. Н. Волконских.

Безусловно, списков было гораздо больше, многие до нас не дошли. В этом отношении чрезвычайно интересны неопубликованные воспоминания В. П. Буренина, которые он написал в 1925 г., а речь в них идет как раз о 1859 г. — годе публикации «Одичалого». Буренин в юности встречался с Батеньковым у Н. Д. Фонвизиной (жены декабриста М. А. Фонвизина). Вспоминая об этом через 65 лет, он, конечно, кое-что перепутал, однако в главном не ошибся. По его свидетельству, Батеньков в крепости «написал поэму, в которой подражает отчасти «Шильонскому узнику» Байрона. Батеньков читал поэму не только в переводе Жуковского, но

¹¹ ЛБ, музейное собрание, № 139.

и в подлиннике. Это видно из того, что местами он перемещает короткий ямбический стих на строки с рифмами посередине, как это встречается в байроновской поэме. Я читал поэму Батенькова в рукописи, полученной мною от Н. Д. (Фонвизиной. — А. И.)... Она замечательна не только как памятник тюремных мук Батенькова, но и в литературном отношении»¹². Судя по стиховедческой характеристике, данной Бурениным батеньковской поэме, совершенно ясно, что имеется в виду поэма «Одичалый».

Итак, поэма «Одичалый» была известна друзьям, знакомым Батенькова, декабристам и людям их круга, и ни у кого не было сомнения в том, что она сочинена именно Батеньковым в Свартгольмской крепости в мае 1827 г. Более того, поэма была напечатана при его жизни, всего лишь через три года после амнистии 1856 г., причем в официальных кругах репутация декабристов не была еще полностью восстановлена (этим можно объяснить шифр О—Е—А и намеренно неопределенные сведения в «Русской беседе» о времени и месте написания поэмы). Таким образом, остается предположить, что либо автором «Одичалого» был действительно Батеньков, либо же автором Батеньков не был, но, превосходно зная, что поэму ему приписывают, поддерживал эту ложную версию. Разумеется, последнее предположение абсурдно, но возникает вопрос: если Батеньков автор «Одичалого», то почему не осталось ни одного его свидетельства об этом? Почему ни в одном из писем к самым близким людям он ни разу не «процитировал» какое-нибудь место из «Одичалого»? — ведь послания к А. П. Елагиной пестрят выдержками из других и менее сильных его произведений: «Тюремной песни», стихотворения «Математике» и пр.?

В самом деле, Батеньков нигде не подтверждает, что он действительно автор «Одичалого», но нигде и не отрицает. А не знать вообще о том, что его считают автором поэмы и что ее даже напечатали в «Русской беседе», он не мог. Уже говорилось о его друзьях-декабристах, уверенных в том, что «Одичалый» принадлежит перу Батенькова; далее, в 1859 г. он ездил в Мо-

¹² ИРЛИ, ф. 36, оп. 1, № 41.

скву и в Петербург (из Калуги), виделся с людьми, имевшими самое непосредственное отношение к жизни журнала «Русская беседа», — с Аксаковым, Ф. Чижевым (об этом сохранились его письма Елагиной¹³), — одним словом, именно в 1859 г. Батеньков был как бы в атмосфере «Русской беседы», опубликовавшей «Одичалого».

И тем не менее он не только не вспоминает нигде о своем «Одичалом», но и обходит молчанием сам факт издания этой поэмы. Причина, нам кажется, заключается в следующем: «Одичалый» создавался в приливе отчаяния. Автор считал себя заживо погребенным и дал волю своему скорбному чувству. Беспросветный пессимизм чувствуется в образах поэмы, в интонациях автора. Если бы Батеньков не сумел преодолеть то чувство, то мироощущение, которое вызвало к жизни поэму «Одичалый», он не выдержал бы двадцати лет одиночного заключения, не выдержал бы, может быть, и года. Но Батеньков победил свой пессимизм. Место отчаяния и безнадежной скорби занял упрямый классицистский восторг, «парение» души, и в состоянии этого восторга были созданы «Тюремная песнь» и некоторые другие произведения. В «Тюремной песни» меньше художественной силы, чем в «Одичалом», но парения и восторга в ней более чем достаточно. Автор часто восклицает: «Воспари на высоты!» или: «В небо воспари душой!» Такого рода восторг редко способствует созданию подлинно художественных произведений, но он согревает и вдохновляет душу художника. Этот восторг оказывался сильнее отчаяния, с ним Батеньков забывал о тюрьме. Замечательно, что в «Тюремной песни» нет ни одного слова о тюрьме: поэт «воспарил» и обрел высшую, духовную свободу. А в некоторых стихотворениях тюрьма даже поэтизируется:

Темницы тишина святая
Сосредоточила мой дух,
К громам священного Синая
Покорный приучила слух...¹⁴.

¹³ ЛБ, Елаг. — 2—65.

¹⁴ Публикация М. О. Гершензона — В кн.: Русские пропилси, т. 2. М., 1916, с. 101.

Потому-то и были Батенькову особенно дороги произведения, отмеченные печатью такого восторга. Он любил их вспоминать, любил делиться ими с близкими, когда вышел из тюрьмы. «Одичалого» же, свое лучшее, но не согревавшее в тюрьме произведение, — Батеньков не любил, не любил и вспоминать о нем.

Интересна в этом плане история одного батеньковского четверостишия, написанного в том же ключе, что и «Одичалый». Оно сохранилось в черновике одного из писем к Елагиной. Воспроизводим его вместе с отрывком из письма: «Я много раз подходил к конечной агонии и страдал всю ночь, часто не надеясь прожить до утра.

И слез, и радости свидетель,
Тяжелый камень на пути.
Мой гроб и колыбель, прости:
Я слышу скрип могильных петель.

Это четверостишие непонятно без изъяснения. Оно было написано на стене (одиночной камеры. — А. И.) в одну из ночей, которую я почитал последней, в том месте, где вера возродила меня... и где лишения и скорби... превышали обыкновенные расчеты сил человеческих. Тут точно я прошел через конец человеческой жизни и понял, что конец-то не один»¹⁵.

По-видимому, Батеньков не отправил это письмо, во всяком случае, у нас нет сведений, что он его отправил. Повторяем: он не любил даже с близкими людьми делиться своим отчаянием, охотно разделял лишь восторг. А между тем четверостишие замечательно своей скорбной силой и искренностью. Впоследствии оно вошло в состав одного из батеньковских стихотворений, однако же нигде, кроме упомянутого черновика, Батеньков его не «процитировал».

Проследим, как отразилась в поэме «Одичалый» личность Батенькова, его творческая индивидуальность, как проявились особенности его мироощущения и стиля. Все это может иметь вполне самостоятельный интерес, в данном же случае это интересно вдвойне, поскольку содержит дополнительные аргументы в пользу авторства Батенькова.

¹⁵ ЛБ, Бат. — 15—4.

Среди наук, которыми в молодости увлекался Батеньков, особое место принадлежало астрономии. Это нашло отражение в поэме:

Земля вращается, стня,
И солнце красное сокрылось...

Стихи из «Одичалого» о «стнящей» в своем вращении Земле передают ощущение страха «исчезнуть» в бесконечном пространстве, а в записках Батенькова имеется аналогичный мотив: страх перед круговращением Земли, которая может вдруг сорваться с предначертанной орбиты и затеряться в космосе, улетев от Солнца ¹⁶. Но не только в приведенных выше словах поэмы сказалась причастность ее автора к астрономии. Вот узник задает себе вопрос: во что превратится его тело после смерти?

Что будет око прозорливо,
Которое земли покров
Так обымало горделиво
И беги мерило миров?

Это явный намек на занятия астрономией. Кстати, слово «обымало» в печатном тексте изменено на «обнимало». Во всех же просмотренных нами списках имеется форма «обымало». Свои письма друзьям Батеньков иногда заканчивал словами: «Обымаю тебя» — характерная особенность, проскользнувшая и в списках поэмы, но утраченная при ее публикации. Нужно заметить, что списки вообще точнее передают особенности батеньковского письма, чем печатные тексты; например, рукописи Батенькова испещрены длиннейшими многоточиями (по 6—7 точек) там, где они вовсе не требуются по смыслу. В списках «Одичалого» есть такие многоточия, при публикации они, естественно, утрачены.

...Но чем то сердце будет здесь,
Которое любить умело
И с юных лет уже презрело
Своекорыстие и спесь?

¹⁶ ГПБ, ф. 49, № 5.

Имеются в виду, вероятно, не своекорыстие и спесь вообще, а своекорыстие и спесь правительства, против которого восстал Батеньков, позволивший себе «к цепям... отвращенье». И сравним с этим то, что говорит Батеньков в «Писаниях сумасшедшего»: «Жестокое правительство уже расстроено (т. е. если оно жестокое, то оно обречено. — А. И.). Хвастливое и своекорыстное — также». «Хвастливость» и «спесь» — синонимы; «своекорыстие и спесь» (своекорыстие и хвастливость) — устойчивая отрицательная характеристика тиранов, данная Батеньковым.

Узник восклицает:

Бессмертие! В тебе одном
Одна несчастному отрада, —
Покой в забвении гробовом...

На первый взгляд кажется несколько странным сближение понятий «бессмертие» и «покой». Обычно покой связывают не с бессмертием, а, напротив, со смертью, с небытием. Да, это странно, но это по-батеньковски; сравним опять с «Писаниями сумасшедшего»: «Бессмертие..... чувство. Дальше не знаем Паки-бытия, как только обойти смерть. Но знаем еще..... покой» (многозначия Батенькова). Если путаное, сбивчивое изложение мысли представить в общедоступной форме, то получится: «Бессмертие постигается лишь чувством; уму, знанию доступна лишь одна форма бессмертия: увильнуть от смерти, обойти ее (но это совсем другое). Однако уму доступно понятие покоя (здесь ум смыкается с чувством)». Идея не совсем обычная, но, как видно, выношенная Батеньковым, характерная для него.

Ум для Батенькова-философа, так же как воля и вера, — некая самостоятельная, обособленная сущность. Он сам творит, действует и т. д. Это для Батенькова не метафора, а вполне принципиальное, продуманное убеждение, что также накладывает известный отпечаток на поэму. Вот как выражена мысль о том, что в пустыне, которая сама по себе похожа на тюрьму, люди построили еще одну тюрьму (в этом и других стихах курсив мой. — А. И.):

И там *уму*
В тюрьме тюрьму

Еще придумалось устроить!..
Легко *ему*
Во мраке — тьму,
В теснине — тесноту удвоить.

Эта строфа примечательна во многих отношениях. Батеньков — и в письмах своих к Штейнгелю, и в «Писаниях сумасшедшего» — ратовал за слияние «художества с наукой», сожалея, что люди не понимают и «шарлатанами называют людей, которые эстетически число чувствуют». Приведенная строфа не что иное, как блестящее воплощение эстетического чувства числа. Число «два» — на нем держится вся строфа, ее структура, композиция, ритм, рифма, звуковая выразительность: две тюрьмы (одна в другой); две пары (два раза по два) синонимов: *мрак — тьма, теснина — теснота*; благодаря внутренним рифмам две строки делятся надвое, — и все венчает последнее слово — *удвоить*, что подчеркивает трагическую обреченность узника, безысходность его положения в кошмарном мире двоящегося зла. Поэт боится этого рокового числа. «Создатель благ», — успокаивает он себя. Но тут же с ужасом спрашивает: «Ужель их два?».

Кстати, не исключено, что мотив двойной тюрьмы восходит к поэме «Шильонский узник»:

Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена
Тюрьму соединились там...¹⁷.

Но мы не стали бы вслед за В. П. Бурениным, на воспоминания которого ссылались, говорить о ритмико-интонационном сходстве «Одичалого» с «Шильонским узником». Конфигурации рифм и самый характер рифмовки у Батенькова совершенно иные по сравнению с поэмой Байрона. В частности, вполне самобытна техника внутренних рифм в «Одичалом». Помимо тех внутренних рифм, присутствие которых подчеркнуто в пе-

¹⁷ Цит. по: Жуковский В. А. Полн. собр. соч., т. 3. Спб., 1902, с. 57.

чатных изданиях поэмы графически, т. е. раздвоением стиха на полустихия, укажем некоторые скрытые созвучия, выделяя курсивом рифмующиеся слоги и соответствующим образом разбивая строки:

Им — все! А *мне*
Едва во *сне*
Живая кажется природа.
Ищу
В *бесчу-*
вственной стене...

И еще один пример:

Пора придет:
Не лживый свет
Блеснет...

Батеньков пользовался внутренними рифмами не только в «Одичалом». В «Тюремной песни», автограф которой сохранился, встречаются даже тройные внутренние рифмы:

Мертвит ничтожные предметы,
Живит неложные обеты...

В двух строках шесть слов — и нет ни одного незарифмованного (виртуозность, достойная Блока: «Нежной поступью надвьюжной,/Снежной россыпью жемчужной»). Поэтому особая изысканность рифмовки «Одичалого» не должна возбуждать сомнений в авторстве Батенькова: такая изысканность была ему свойственна вообще.

Можно найти немало совпадений в тексте «Одичалого» с текстами других произведений Батенькова. Ограничимся немногими, сознавая, что для решения проблемы авторства значимы совпадения лишь с теми текстами, автографы которых сохранились (собственно, этого правила мы придерживались и до сих пор). Выше цитировалась фраза из «Писаний сумасшедшего»: «Уже проклят день моего рождения». Ср. ее со стихами «Одичалого»:

Живой в гробу,
Клянусь судьбу
И день несчастного рожденья...

Ощутимое сходство есть также в следующих стихах: «Пождем, — призывный голос навевает» («Одичалый») — «Пождем, — Минерва наиграла» (стихотворный отрывок из «Писаний сумасшедшего»). Характерны для Батенькова строфические анафоры определенного типа — повторяющиеся в зачинах строф слова и словосочетания: смотри, вон там... смотри: вон там... В «Одичалом»: «Вон там, весной...», «Вон там на воздухе висит, / Как страшный остов, камень голый» (в списках есть вариант: «Смотри! Там камень голый / Как бы на воздухе висит»). «Вон там туман густой вдали»... В «Тюремной песни» несколько строф подряд начинаются с такого указания-приглашения: смотри: там... смотри, вон там... смотри: вот там... .

Итак, некоторые образы, словосочетания, элементы синтаксического строя, имеющиеся в «Одичалом», варьируются в других произведениях, принадлежность которых Батенькову документально доказана. Иными словами, в поэме «Одичалый» явственно чувствуется Батеньков — и в стилистических «мелочах», и в особенностях мировосприятия. Неповторимый почерк поэта можно узнать, даже если утерян автограф, тем более что имеются сопутствующие свидетельства, указывающие на Батенькова как на автора рассматриваемой поэмы.

С особыми трудностями, может быть даже и непреодолимыми, сталкиваемся мы, стремясь восстановить правильный, «канонический» текст «Одичалого». В 1827 г. Батеньков, по-видимому, не записал поэму (писать ему не давали) и лишь много лет спустя восстановил текст в памяти, кое-что, вероятно, изменив. Возможно, он даже предложил разные варианты поэмы своим друзьям-декабристам, заинтересовавшимся произведением. Трудно предположить, что Штейнгель, Волконский или Н. Бестужев (владельцы списков) редактировали «Одичалого» — они не были поэтами. Скорее всего, сохранившиеся варианты текста исходили от Батенькова.

Если это так, то имеющиеся в списках разночтения интересны как еще одно свидетельство виртуозного и тонкого мастерства и культуры стиха, присущих Батенькову-поэту. Об этом шла речь в связи с внутренними рифмами. Варианты же текста (см. вторую часть

нашей книги) показывают, что поэт вообще охотно экспериментировал в области стихосложения: от четырехстопного ямба переходил к трехстопному, от чередующихся мужских и женских рифм, опоясывающих или перекрестных, — к многократно повторяющимся мужским и т. д.

Отличительной чертой поэмы «Одичалый» является относительно сложный и утонченный психологизм, сочетающийся с трагически-исповедальной авторской интонацией. Такую интонацию можно найти во многих хороших русских «байронических» поэмах, хотя в «Одичалом» она звучит своеобразно и ни в коем случае не по-эпигонски. Например, всплывают в памяти ламентации пушкинского «Кавказского пленника» и рылеевского «Войнаровского», когда читаем следующие стихи Батенькова:

Ничьей слезой
Прах бедный мой
В гробу гнилом не оросится,
И на покой
Чужой рукой
Ресниц чета соединится...

Здесь традиционная, характерная для романтизма трагически-исповедальная интонация обогащается глубокими, но все-таки осязаемыми отзвуками народных плачей, причитаний: *бедный; никто не оплачет* — мотивы, звучащие во многих русских народных песнях о чужеземной стороне, сиротской доле. Кроме этого в приведенных стихах содержится явная реминисценция строк Батюшкова из стихотворения «Совет друзьям», впрочем, в последующей редакции — стихотворение «Веселый час» — поэт изменил эти строки настолько, что они в значительной мере потеряли сходство со стихами батеньковского «Одичалого», поэтому приведем первоначальную редакцию, где это сходство очевидно:

...ничьей слезой
Прах хладный мой не окропится!

Между тем Батенькова никак нельзя заподозрить в подражательстве каким бы то ни было образцам: его

поэтический голос звучит вполне самостоятельно, интонации, при всей их, казалось бы, традиционности, резко индивидуальны и неповторимы.

Что же касается психологизма Батенькова, то, бесспорно, в этой области проявлено незаурядное мастерство. В «Одичалом» переданы те сложные состояния души человека, выразить которые смог бы далеко не каждый поэт-романтик. Например, такая психологическая ситуация: человек торжественно прощается с близкими, но в душе он уверен, что еще встретится с ними, и понимает, что эти прощания несколько условны (не «прощайте» надо было бы сказать, а «до свидания»); но вот силою обстоятельств он навсегда расстался с людьми и вдали мысленно прощается с ними, невольно сравнивая свое последнее, серьезное и трагическое прощание с прежними, условными. Вот как это у Батенькова:

Я прежде говорил «прости»
В надежде радостных свиданий,
Мечты вились на пути,
А с ними ряд воздушных зданий.
Там друг приветливый манил,
Туда звала семья родная,
Из полной чаши радость пил,
Надежды светлые питая.
Теперь — прости всему навек...

Еще один пример. Батеньков сумел выразить душевное состояние человека, верившего в людей и внезапно потерявшего эту веру. Батеньковский узник, преодолевая отчаяние, находит утешение в том, что далекие друзья и родные, когда он умрет, сердцем почувствуют его кончину и почтят ее своей печалью. И вдруг — мгновенная мысль: не нужен он друзьям, умевшим делить с ним радость, но забывшим его в беде:

Ненужный вам для наслаждений
Равно — живет иль не живет?
Ужель себя
Одних любя,
Во мне лишь средство веселиться
Искали вы?..

И, наконец, следует сказать еще об одной примечательнейшей особенности поэмы «Одичалый» — о незаурядной живописности образов, как бы контрастирующей с общим могильно-мрачным колоритом тюремного одиночества и отчаяния. В далеком мире — яркий свет луны, пение птичек, вздохи зефиров, цветение весны и людское веселье. Правда, узник сомневается в существовании этого недоступного ему рая вольной жизни, но от ее навязчивых видений ему никуда не деться. Еще более пластично воссоздан пейзаж финских островов, на одном из которых высятся Свартгольмская крепость:

Вон там весной
Земли пустой
Кусок вода струей отмыла,
Там глушь: полынь и мох густой —
И будет там моя могила!
.....
Кукушка стонет, змей шипит,
Сова качается на ели,
И кожей нетопырь шумит...
.....
Выходит пар из мокроты,
И ржавый мох в болоте ткется...

Подобных примеров можно было бы привести много: Батеньков-колорист, Батеньков-живописец в поэме «Одичалый» достиг ярких и выразительных эффектов.

Завершая рассмотрение поэмы, отметим следующее. 1827 год, когда она была создана, — время печального расцвета так называемой тюремной поэзии с ее глубоко выстраданным трагико-романтическим пафосом, время, когда дантовский Уголино и Шильонский узник Байрона вновь становились героями дня. По-новому зазвучала тема, волновавшая гениальных поэтов Европы, — в связи с судьбами оказавшихся в заточении декабристов. Батеньковская поэма «Одичалый», несомненно, является одним из наиболее выдающихся памятников тюремной поэзии и в этом отношении представляет собой нечто значительно большее, нежели просто творческое достижение непрофессионального, хотя и весьма одаренного литератора.

«А ГДЕ-ТО В КАМЕРЕ ГЛУХОЙ...»

В Петропавловской крепости, куда Батенькова перевели из Свартгольма, была написана «Тюремная песнь». Ее наиболее полный рукописный текст (автограф) хранится в ЦГАОР, в фонде Муравьевых-Апостолов. Вплоть до недавнего времени были опубликованы лишь некоторые отрывки из этой философской поэмы-оды. Правда, как мы уже говорили, художественные достоинства «Тюремной песни» значительно уступают стихам поэмы «Одичалый», но, пожалуй, не следует и сравнивать эти два памятника, ибо они связаны с совершенно разными традициями в истории русской поэзии. «Одичалый» — романтическая поэма отчаяния и скорби, «Тюремная песнь» — вопреки своему названию — восторженный панегирик, выдержанный в классицистическом духе. Панегирик — кому или чему? Мирозданию, бытию, вечному духу, присутствующему в высших проявлениях прекрасного:

Восторгом чудным окрыленный,
Вознесся я до высоты,
Где закатается луч тленный
И всходит солнце красоты.

Такой тон сохраняется до конца поэмы.

Личность автора почти без остатка «растворяется» в том ликующем беспредельном пространстве, в которое он, вчерашний жалкий узник, вырвался. И все же при внимательном чтении чувствуешь, что Батеньков, такой, каким мы его знаем, присутствует в тексте, оставил в нем отпечаток своей неповторимой личности. Вот, например, такие стихи:

Любезный юноша, с тобою
Хочу, как друг, поговорить.
Я тайны важные открою
И научу тебя творить...

Здесь каждое слово заслуживает особого внимания. Казалось бы, обыденное «хочу поговорить» — и хорошо известная нам тоска Батенькова-узника по общению с

людьми. С воображаемым собеседником поэт хочет говорить ласково: «любезный юноша... как друг...». Но в то же время тут проглядывает и нечто резонерское — то самое, что будет проскальзывать в интонациях Батенькова-старика: на «юношу» — при всей доброжелательности — менторский взгляд свысока, как на ученика («научу тебя творить»). И, наконец, доверительно, как бы наклонясь к уху поучаемого, чтобы никто не подслушал (ибо у тюрьмы есть свои глаза и уши): «Я тайны важные открываю...».

А тайны, действительно, важные. *Mania grandiosa*¹⁸ не велит болтать о пустяках, дух захвачен непомерно высоким, значительным и божественным. Вот поэт созерцает торжественный церемониальный ход символических фигур, окруженных ореолом редкостного, неземного величия:

Мужей ряд вижу именитых,
Сих редких на земле гостей...
Где каждый муж стопой коснется,
Там новый ход вещей начнется,
Судеб продвигнется звено.
Муж каждый — мир уединенный,
А сонм мужей соединенный
Одно, — великос одно.

Мы сразу попадаем в круг богоподобных мужей, богов и богинь. Не заставит себя ждать, вскоре появится на страницах «Тюремной песни» и сам верховный правитель мироздания — «живой и всемогущий бог, космогоническая сила». Мистико-религиозные мотивы занимают довольно значительное место в поэме. Одна из ее строф представляет собой стихотворное переложение молитвы «Отче наш». Но даже в теологическом жару Батеньков не забывает о том, что он ученый, рационалист. Вселенная отнюдь не отдана на произвол всемогущим духам, их власть над миром относительна и ограничена:

Легко миры они вращают,
Когда тот пункт опорный знают,
О коем плакал Архимед...
.

¹⁸ Мания величия. (Лат.)

Духам не свойственна измена,
Тверда опора их безмена,
И, взяв размер для рукавов,
Уравновесят силой бремя,
Ее восполнят тратой время
По общим свойствам рычагов.

Только тогда высшие божественные силы могут управлять вселенной, мирозданием, когда они считаются с объективными законами небесной механики, постижением которых занята земная, человеческая наука.

Поэма проникнута пафосом мироприятия, веры в разумность бытия. Законы судьбы, по убеждению Батенькова, непреложны, праведны, но человеческая личность сохраняет за собой право бороться с судьбой. Для этого человек соединяет в душе добро и зло: ибо, будучи носителем только добра, — как мог бы он бороться с праведной судьбой? Но Батеньков не осуждает то зло в человеке, которое толкает его на борьбу с судьбой. Он говорит от имени этого человека:

Уязвленный грехом, страдаю,
Мучитель, мученик, по царь.
Служить бессмертью уповаю,
Хаоса сплавливая гарь.
Делами бездну наполняю,
Добро и зло соединяю,
Чтоб оправдать мою борьбу
С судьбою праведной, неложной,
В своих законах непреложной, —
И не останусь во гробу!

Такая концепция личности представляется вполне оригинальной. Обычно вопрос решался более просто: рок — жестокий, судьба — враждующая, и прекрасная человеческая личность потому и оправдана в глазах поэта и читателя, что борется с жестокой, несправедливой судьбой (например, Войнаровский в поэме Рылеева). Батеньков углубляет и усложняет проблему: человек, царственно великий, ведет справедливую борьбу со справедливой судьбой, он, оказывается, и «мучитель», и «мученик», и чернорабочий, который «сплавляет гарь», преодолевая «страстей нечищенных волнение» (от поэтической лексики вдруг повеяло «технологией» какого-то производства, химией, хозяйством — стилисти-

ческий эффект неожиданный и сильный!). И в то же время это мятежная, романтическая личность, с которой европейского читателя познакомил Байрон, — человек многих мыслей и дел, беспредельный в добре и зле («Манфред»).

Одна из любимейших тем Батенькова — тема родины. Звучит она и в «Тюремной песни»:

Светися, красная, светися
В холмах седых, Россия-мать!

Образ необычайно емкий. «Седые холмы» (в первоначальном варианте: *в холмах младых*) — не только символ глубокой древности, но и живописный образ. «Красная» — слово вызывает ассоциативное представление о красном цвете заходящего солнца, зари, и не просто о красном цвете, а о красном сиянии: «светися...». Возникающий образ покрытых ковылью холмов под красным, закатным небом — своего рода патетический пейзаж.

При некоторой сумбурности и порывистости (ведь поэт хочет объять весь мир!) Батеньков подчас обнаруживает удивительную тонкость и четкость в архитектурном построении отдельной темы, со вкусом и симметрично располагая ее компоненты, — мастерство, доступное не всякому стихотворцу. В этом отношении особенно примечательна композиция XIV строфы:

Вот камень, твердый и холодный,
И признака в нем жизни нет.
Вот грубиян язык народный,
Иным посмешища предмет.
Резец Венеру в камне сыщет,
Певец, как соловей, засвищет,
Холодный, грубый — где они?..

Вначале — два абсолютно параллельных двустипия: одно о камне, другое — о языке; параллелизм подчеркнут лексической анафорой *вот — вот*. Затем (5-я и 6-я строки) параллели «придвинуты» одна к другой: один стих о камне и один — о языке; параллелизм подчеркнут начальной рифмой *резец — певец*. Меньший объем покоится на большем — классическое архитектурное решение. И, наконец, «свод», «купол», венчающий соору-

жение: обе развиваемые темы — камня и языка — сливаются в одном (7-м по счету) стихе. Однако равноправны ли эти темы или же одна подчинена другой? Сравнивая камень с языком, о чем поэт хочет вести речь — о камне или о языке? На этот вопрос отвечают три заключительных стиха строфы (своего рода «шпиль» над «куполом»):

Зри! Огненный язык слетает,
Его всяк в меру понимает,
Им боги говорят одни.

Вообще же строфика Батенькова заслуживает особого внимания. «Тюремная песнь» написана традиционной одической децимой, столь популярной в русской поэзии эпохи классицизма (XVIII в.). Конфигурация рифм — соответствующая: АБАБВВгДДг. Заметим, что не только «Тюремная песнь», но и большинство последующих стихотворений Батенькова написаны одической децимой — она стала излюбленной строфической формой поэта. Любопытно, что поэт иногда необычным образом варьировал эту негибкую, казалось бы застывшую, «канонизированную» форму, прибегая к своеобразнейшим строфическим модификациям оды. По-разному менял, например, порядок расположения мужских и женских рифм: мог и начать и кончить строфу мужским стихом («Живый и всемогущий бог» — «Причины все не обойдут»); «приращивал» к традиционной дециме пару стихов со смежной рифмой, а внутри той же строфы, вопреки правилу, сочетал мужские стихи, в результате чего возникла оригинальная и очень выразительная ритмико-строфическая фигура (по неизвестной до толе формуле АБАБВВгддгЕЕ):

Не жди из гроба воскресенья,
В грязи валяясь вещества,
Алкая в ней увеселенья
И отчужденный божества.
Болезнь и смерть всегда с тобою,
Лишь их ты щупаешь рукою,
Не успокоится твой ум.
Что день, в лишениях тужа,
Осиротевшая душа
Отчается во мраке дум,
И песнь поэта без восторга
Мертва в церквах, мертва средь торга.

В оде «К математике» сконструирована другая интересная разновидность децимы. Батеньков нагнетает одни и те же рифмы, одни и те же слова и даже целые строки, действуя явно вопреки сложившейся и прочной одической традиции. Мы имеем в виду строфу, где поэт призывает читателей любоваться грандиозным архитектурным сооружением — собором св. Петра в Риме:

Стекайтесь, дети просвещения,
Стекайтесь любоваться им.
Какая стройность размеренья!
Красив величеством одним!
Се кровы вышнего селенья...
Стекайтесь, дети просвещения,
Стекайтесь любоваться им!
Вот в наготу его искусство,
Вот новое создали чувство,
Которым Бога ощутим.

Эта строфа звучит как заклинание — эффект, на который одическая децима может претендовать в исключительно редких случаях. Чаше одописец стремится использовать все возможные средства для того, чтобы реализовать заданную строфическую форму с помощью разнообразного, неоднородного материала, преодолевая тем самым известное однообразие схемы, докучное движение поэтической речи по инерции. Батеньков же в приведенном примере, напротив, усугубляет однообразие, ритмико-лексическую повторяемость стихов: АБАБААБВВБ — всего три рифмы вместо полагающихся пяти, что, в частности, и усиливает этот эффект магического заклинания.

Ода «К математике», из которой мы привели строфу о храме св. Петра в Риме, заслуживает особого внимания. Это образец глубокой и своеобразной философской лирики. Интереснейшие идеи высказаны здесь поэтом-узником, и, как ни удивительно, постичь их интеллектуальную глубину помогают достижения художественно-философской мысли нашего времени. Вспомним, как у Томаса Манна в «Фаустусе» Леверкюн рассказывает Цейтблому о своем будто бы состоявшемся путешествии в батисфере по морским глубинам. Раздразнив слушателя сведениями о причудливых видениях грандиозной подводной стихии, Леверкюн идет еще дальше,

травмируя его «гуманитарное» воображение рассказами о взрывающемся космосе, звездах, галактиках. Цейтблом протестует: «Восхищение величием, восторги по его адресу, покоренность им — все это, несомненно, услада для души, возможная, однако, лишь до тех пор, пока мы остаемся в кругу осязаемо-земных, человеческих соотношений. Пирамиды велики, Монблан велик, интерьер собора св. Петра велик, если не лучше вообще приберечь этот эпитет для области нравственного и духовного, для величия сердца и мысли. Исчисление вселенского простора — не более чем оглушительная бомбардировка нашего ума цифрами, отягощенными кометными хвостами десятков нулей, как будто и не имеющими ничего общего с мерой и разумом. В этом чудовище нет ничего, что говорило бы людям моего толка о добре, красоте или величии». И далее: «Какой пиетет и какую основанную на пиетете культуру духа вызовет к жизни представление о таком беспримерном непотребстве, как взрывающийся космос?»¹⁹.

С ходом этой своеобразной мысли я как бы сверял свою работу, когда по отдельным отрывочкам батеньковских автографов собирал «полный» (в кавычках — потому что все равно неполный, в каких-то частях забытый самим автором) текст оды «К математике». Отрывочки эти хранятся в разных архивах. Поэта, безусловно, волновала идея величия, «огромности». И начал он с того, что пропел гимн храму св. Петра. Это, по Цейтблему, образец величия, соизмеримого с человеком и доступного человеческому пиетету. Но далее следует переход к величию иного уровня: морская стихия, уже нечто далеко «не гуманитарное». Правда, Батеньков не опускается на дно в батисфере, он «просто» беседует с морским божеством, чей сын Тритон

Играет бурями и льдом,
Кольцом на шаре вьет дорогу,
Кидает Рака к Козерогу,
Страшнее туч бросает гром.

Тритону вроде бы тесно в родной стихии, его так и тянет ввысь, к неизведанным просторам, к тучам, к не-

¹⁹ Манн Т. Доктор Фаустус. М., ИЛ, 1959, с. 325, 327.

бу и звезд, и здесь Батеньков расстается с Тритоном и с морем и сам устремляется в космос: величие нового, уже третьего по счету уровня. Но «непотребства», о котором говорил гуманист Цейтблом, не жаловавший ни моря, ни звезд, в космосе нет, напротив — царит порядок и гармония, не нужно лишь питать презрения к цифрам и числам, чтобы эту гармонию постичь:

...Каждый мир путь точный знает,
Пути не пресечет другим...

Столь строгий и разумный порядок Батеньков мог бы объяснить божественным промыслом творца, чьей созидательной волей устроен мир. Но по крайней мере в сохранившихся фрагментах оды этот мотив отсутствует. Поэт на этот раз апеллирует не к божеству, а к науке, науке точной — к математике. Правда, Батеньков никогда не противопоставлял науку религии, но в данном случае он не отстаивает и связи между ними: то ли она сама собой разумеется, то ли поэта увлекла идея чистой, а стало быть, очищенной и от богословия науки. Математика оказывается всесильной и универсальной; она измеряет величие всех членов заданной триады: храм — море — космос.

К тюремному периоду относятся и батеньковские опыты «священной» поэзии: переводы псалмов, молитв, цикл «Таинства». Постоянное чтение Библии, да еще на разных языках, хотя и было в известной мере вынужденным — из-за отсутствия иных книг, — все же не могло не сказаться на характере поэтического творчества. Разлученному с людьми, Батенькову порой казалось, что только он один жив в мире, никого больше нет, кроме, разве что, бога, с которым (и ни с кем другим) можно поддерживать общение. Если для обычного верующего бог является все-таки довольно отвлеченным и неясным понятием, а люди — реальны, то Батенькову-узнику как раз люди-то, забывшие о нем и полузабытые им, могли казаться призрачными и далекими, то ли существующими, то ли давно уже вымершими. Он и речь их стал забывать, и с богом «беседовал» на каком-то странном, малопонятном языке. Поэтому батеньковские опыты «священной» поэзии резко отличаются от произведений аналогичного жанра, написанных другими ав-

торами — от Тредиаковского до Ф. Глинки, которые все-таки к людям, к читателям, к литературной критике шли со своими псалмами.

В целом же и ода «К математике», и «Таинства» с псалмами естественно примыкают к «Тюремной песни». Это единый поток философских раздумий поэта. Но если «Тюремная песнь» всеобъемлюща, комплексна, то последующие произведения, скорее, одноплановы.

Другой цикл лирических стихотворений, созданных Батеньковым в Петропавловской крепости, продолжает линию «Одичалого». В них поэт предстает перед нами уже не в качестве философа-мудреца, ученого, богослова, миростроителя, а в облики несчастного и страдающего человека, узника. В них воссоздается атмосфера одиночной камеры Петропавловской крепости, намечены, хотя и бегло, некоторые детали тюремного быта.

Шедевром этого цикла является стихотворение «Узник», которое, кстати, заканчивается словом «одичалый», совпадающим с названием свартгольмской поэмы. Здесь, как нигде, мы можем слышать голос поэта, приглушенный стенами тюремной камеры: «Не знаю, сколько долгих лет/Провел в гробу моей темницы...», — то страстно взволнованный, то бессильно упавший:

Чела высокого не хмурь,
Мой падший гений!..
Падший гений...

«Мой падший гений!..» — это звучит как крик, как дерзкое предчувствие освобождения, здесь крайняя концентрация и напряжение всех человеческих сил. И тут же — упадок, слабое эхо, бессильно повторившее эти гордые слова: «падший гений!..».

В стихотворении есть поразительная деталь — ржавый гвоздь в руке узника. Это и орудие неудавшегося самоубийства (земля дрогнула, и приставленный к горлу гвоздь выпал из руки), и предмет, которым можно записать стихи на стене камеры. А сама камера — это и гроб, и колыбель, в которой укачало взрослого ребенка в одну из угарных ночей.

Строфический рисунок стихотворения абсолютно симметричен, конфигурации рифм подчинены какой-то безукоризненно компонирующей силе. Можно было бы

продемонстрировать эту особенность с помощью формул, но еще легче убедиться в этом, прочитав стихотворение под соответствующим углом зрения. Сознательно ли Батеньков так рассчитал или же это интуитивно найденная симметрия? Скорее, последнее.

В наши дни посещающие Петропавловскую крепость слушают тишину ее камер. Тишина полная, страшная — нуль звука. Батеньков много о ней писал. Характерно, что тишина у поэта почти неразлучна с громом, она оглушает, как гром. «Темницы тишина святая» приучила слух узника «к громам священного Синая». А гром не зыблет тюремной тишины:

Раскаты громовых свирепость
Земле крушением грозит,
Но Петропавловская крепость
Все так же над Невой стоит...

Наконец, Батеньков признается, что был разбит и оглушен «не громом — тишиною», слышал в тишине громовые раскаты и был ими оглушен. Слышал ли он собственный голос, когда кричал в камере? Думается, не всегда. Его томила неутолимая жажда звуков и красок, отсюда — порой редкостная эвфония стиха и яркость зрительных образов, видений. Было, например, и такое видение. Перед узником предстал Некто в золотых ризах, излучающий сияние, что-то говорил узнику, но тот не слышал, оглушенный громом-тишиною, лишь видел, как у пришельца шевелятся уста. А когда таинственный посетитель исчез, в темном углу камеры долго еще оставалось слабое сияние, не поглощенное тюремным мраком (см. стих. «Откровение»).

В молчании часов тюремных
Я много вынес бурь душевных...

В этих строках по существу продолжается та же тема грома-тишины, правда, тишина на этот раз названа молчанием, а громы — бурями.

Итак, мир Батенькова-узника — оглушительно-безмолвный. Голос поэта «вызревает в коробке тюремного резонатора» (выражение О. Мандельштама) и то за-

молкает, то снова грохочет. «Инструментовка» стиха во многом predetermined этим способом «слышать» мир.

Несколько особняком среди произведений, сочиненных в крепости, стоит стихотворение, в котором Батеньков мысленно обращается к А. П. Елагиной, своей «сестре», как он ее называет. Поэт знал ее задолго до своего заточения, и вот ему удалось «настроиться» на некую особую волну, ведущую не куда-нибудь, а в мир живых людей. Нашелся адресат, вырисовываются жанровые контуры стихотворного послания. Это уже не одиночество и не диалог с надчеловеческим Абсолютом, а разговор с подругой (хотя опять-таки, скорее, торжественный, чем задушевный). Ожившая память о дотюремном прошлом подсказывает поэту литературные штампы, характерные для литературного быта 10-х годов, когда Батеньков находился на свободе, общался с поэтами, но сам еще не был самостоятельным поэтом. Он вдруг говорит о своей нелюбви к золотым чертогам и пышным дворцам, предпочитая им «мирный кров селянина», — к чему бы эти рассуждения узнику, у которого нет ни дворца, ни хижины? Пристало ли ему сочинять идиллии, эклоги, да и послания тоже? Тем не менее сочинил. Но это, вероятно, его единственный опыт подобного рода.

Наконец, наступают последние годы заточения, когда Батеньков пишет свои неоднократно уже упоминавшиеся «Писания сумасшедшего». Уже не гвоздем по стене камеры, а пером по бумаге, в тетради. Несколько стихотворных строчек брошено и в эту тетрадь. Но не о них сейчас пойдет речь, а о тех образцах батеньковской прозы, которые, как нам представляется, имеют право, хотя и с оговорками, называться стихами, поскольку многое в них позаимствовано от природы стиха.

Дело, по-видимому, в том, что проза «Писаний» местами становится ритмической. Батеньков отлично чувствует ритм и начинает делить текст на отдельные ритмические единицы: не дописывает до конца строки, если закончена одна ритмическая единица (стих?), другую начинает с новой строки. Например:

Я пишу вот... К вам пишу.
Кто же я такой?
Реформатор какой-то.
Когда реформатор, то Слово у меня.

К правлению пишу,
К государю пишу.
Правление установило,
Государь определил.
Вот и предмет.
Как есть, так и есть,
То и знаю, что бог есть.

Это уже словно бы и не автор «Одичалого», «Тюремной песни» и других вышеупомянутых произведений. Это русский юродивый с веригой, с лукавой, многозначительной и малопонятной скороговоркой, чьи намеки волнуют и раздражают. Одно только слово «реформатор» выдает в божием человеке труженика мысли. Как удалось Батенькову такое перевоплощение? Это умелая стилизация под народный причет, заговор, причем схвачен самый дух жанра, заключающийся в том, что нет как бы связных мыслей, определенных утверждений, есть лишь набор слов и кое-где подобие ритма и рифм, а впечатление такое, что высказаны необыкновенно глубокие и мудрые мысли: в приведенном отрывке речь идет о неудачливом реформаторе, докучающем правительству своими проектами. Правительство морщится, но проекты рассматривает, следует утомительная бюрократическая волокита — выносятся решения, накладываются какие-то резолюции, от которых дело не продвинется и предлагаемый проект останется на бумаге. И все это видит бог и не одобряет того, что видит.

Текст как будто расшифрован, но не логическим путем: просто мы попытались изложить впечатление, возникшее от текста, от нагнетания слов, между которыми нет строгой логической связи.

Такого типа отрывки из «Писаний сумасшедшего» мы считаем стихотворениями, относим их к числу дисметрических верлибров (исключительно редкое явление для поэзии первой половины XIX в.). Применительно же к данному случаю, имея в виду жанровую близость приведенного отрывка к народному причету или заговору, можно говорить о формах народного дисметрического стиха (народного верлибра). Что касается первых двух его стихов, то они даже метризованы, образуют совершенно правильную хореическую фигуру. А два заключительных стиха — и не только они — связаны между собой тавтологической рифмой.

Как этот, так и некоторые другие наброски, включенные нами во вторую часть этой книги, характеризуются целым комплексом признаков, стиховедческий анализ которых неизбежно приводит к одному выводу: перед нами — стихи, а не проза. И стихи эти не опираются ни на какую литературную традицию. Если раньше, анализируя батеньковские произведения, мы говорили о классицизме, романтизме, оде, эклоге, послании, называли имена предшественников поэта, то теперь обо всем этом приходится забыть. Батеньков вступает в неизведанные стихии слова. В нем просыпается уже не просто поэт, а поэт-экспериментатор. Почва для этого имеется: он и ранее, как мы видели, пробовал экспериментировать с традиционными формами стиха. И в дальнейшем к ним вернется, уже на новом уровне продолжая свои, порой рискованные опыты. О характере батеньковского экспериментализма подробный разговор еще предстоит — на материале его произведений более позднего периода. Двадцатилетний же тюремный период — с его кошмарами и яркими творческими озарениями — кончается.

Глава 4

ЛИРИКА СИБИРСКОГО ПЕРИОДА

Все та же Томь хрящ роет и несет,
Струит свои морщины молодые,
Кайма высот одним широким кругом
Объемлет город юный и живой
Под чашей вечного...

Так начинается стихотворение «Надежда», написанное в 1846 г., когда Батеньков приехал из крепости на поселение в Томск. Поэт еще не успел надышаться воздухом свободы. Мир кажется ему обновленным, юным, «завершившим цикл» и потому заново пересозданным. Морщины — признак старости — и те молодые, да и не морщины это, а мгновенные струйки на поверхности водной стремнины. Томск, старинный, по-

строенный еще при Борисе Годунове, и тот — юный (мы помним, что и древние русские холмы Батеньков был готов назвать «младыми», когда восстанавливал текст «Тюремной пснни»).

Томск — город юности Батенькова. Совсем еще молодым был он здесь. Вернулся сюда в пожилом возрасте, после стольких испытаний, словно воскреснув из мертвых:

Уже полвека грудь мою стеснили,
Скорбей и бедствий полные...

Поэт празднует не только возвращение в Томск, но и возвращение в мир. И видит: «Все та же Томь...», «Все то же Солнце, звезды и Луна», «Все то же здесь...». «Но я-то тот же ли?» — возникает тревожный вопрос. Или сводившие с ума невзгоды разрушили в невзгодах же мужавшего человека? Батеньков отвергает это сомнение:

Я тот же. Да. Бессмертная душа
Не знает старости, и может воля
Стереть громаду мертвую препон.

Правда, прежний Батеньков не сказал бы, что, «может быть, отечество и царь (!)/Услышат истину в его стремлень». Прежний Батеньков говорил и писал иначе: «Царь, ты дурак» — прямо и просто. Но нужно учесть то чувство умиротворения и успокоения, которое овладело поэтом, вернувшимся на берега родной реки после тридцатилетнего отсутствия. Он взволнован и умилен, ни в ком не видит врага, а если бы и увидел, то простил бы по-христиански. «Хочу служить творцу, его исполнить волю», — говорит он. Стихотворение кончается словами надежды и веры: будет еще и жизнь и любовь.

Словом, дает о себе знать какая-то душевная размягченность, сердце оттаивает. Пусть все это ненадолго, но мы упустили бы нечто весьма существенное, не заметив хотя бы временных, эпизодических расслаблений нечеловечески-напряженной Музы, которой служил Батеньков. В некоторых стихах его проскальзывают нотки нежности и человечности, тем более трогательные,

что поэт, отвыкший от подобного рода чувств, выражает их неумело и неизящно:

Когда же порою преступно,
Хоть смерти беда тут и будь,
Я дерзостно и неотступно
Никну на самую грудь, —
И слабо тобой охраненной
Устами святыни коснусь,
Тогда я душой оживленной
Сну в торжестве предаюсь.

Но почему бы эротике не быть косноязычной? Напрасно ведь осмеяли Тредиаковского за его «Езду в остров любви» — непревзойденную в своем роде вещь. Здесь Батсньков к нему близок — с поправкой, конечно, на XIX век.

Стихи, рассказывающие о купании в Томе, исполнены духом веселого античного язычества, а не серьезного христианства, как бывало. Томь для Батенькова — это и Иппокрена, и Лета «для всех забот», сам он подобен Зевсу, принявшему образ лебедя и приближающемуся к «бесподобной Леде». Тон стихотворения — бодрый, мажорный и слегка игривый.

Мотивы античной мифологии в батеньковской поэзии этих лет выполняют особую и весьма важную роль. Это не просто дань общеизвестной традиции и не просто набор апробированных красотей. Для Батенькова это некий мировоззренческий сдвиг: обесцениваются ранее для него священные библейские ценности, уступая место древнегреческой мифологии. Если в тюрьме поэт прилежно внимал «громам священного Синая», то теперь он охладевает к их вещим и торжественным раскатам, к Моисею, Давиду с его псалмами — и, отворачиваясь от них, вступает в светлый мир языческой античности, где живут совсем другие боги, герои, певцы:

Умолкните, Синая громы,
Явился нежный вновь Орфей!

В этом стихотворении, написанном под впечатлением от известия о строительстве железных дорог, упоминаются Прометей, Зевс, Тантал, и кончается оно опять-таки призывом к Орфею: «...проповедай бога-мать». Бог-

мать — это уже не христианская богоматерь, а образ, навеянный духом языческого обожествления материнства, плодородия.

В крепости ничего подобного не было. А когда Батеньков вышел на свободу и болезненно-трагическое ощущение бытия постепенно сменилось более радостными, светлыми, житейскими ощущениями, — тогда и религиозный темперамент несколько поутих. Усмешка вольнодумца становилась более свойственной Батенькову, нежели иступление аскета.

Но это лишь одна, и наиболее светлая, жизнерадостная грань батеньковского поэтического мироощущения. Чувствуется, что ему тесновато в оболочке человека, которому ничто человеческое не чуждо. По-прежнему тянуло к монументальности, к охвату больших объемов и пространств. И нужно быть самому немножко великаном, чтобы по-настоящему созерцать другого великана — Россию. Масштабы здесь, конечно, не космические, к которым привык Батеньков в крепости, но все-таки достаточно крупные и внушительные, мало кому доступные:

Каким огромным великаном
Я зрю тебя, Россия-мать...

Россия в этом стихотворении — прекрасная женщина. Под зубчатым норвежским гребнем — финляндская коса. Фата — море синее. На ней венец северных сияний. На плечи наброшены драгоценные меха: Сибирь с ее пушниной. Опоясана хребтами гор. В этом описании чувствуется ломоносовская традиция.

Итак, пафос монументализма, одушевлявший батеньковские произведения тюремного периода, не иссякает. Отдавая должное простым житейским темам, поэтизируя обыкновенные земные удовольствия, поэт-декабрист в то же время помнит о своем высоком призвании пророка, ясновидца, напряженно-вдохновенного одописца. А что же случилось с тем трагизмом мировосприятия, который был характерен для Батенькова-узника? Едва ли он мог развеяться бесследно, раствориться без остатка, скажем, в эпикурействе или в оптимистическом монументализме.

Нет, трагическое не исчезло, хотя, конечно, приняло иные формы. Было время тоски по свободе. Но вот он освобожден. И оказывается, что, привыкший к отчужденности, одиночеству и самоуглублению, к духовному общению с какими-то высшими силами, он не способен к обычной, земной жизни, хотя подчас и готов вкушать ее радостей. В тюрьме была надежда на какой-то исход: «Еще мне жить, дожждаться воли...». Теперь безысходность: в тюрьме не житье, но и на воле тоже. Хоть обратно в тюрьму, мелькала иногда мысль, и можно представить, как тяжела она была Батенькову. Подобное настроение сказывается в некоторых его письмах и стихах. Таково, например, стихотворение «Раздумье». Оно начинается чудесной картиной ясной сибирской ночи, созерцаемой поэтом из окна, надо полагать, «соломенного дворца»:

Сижу задумчив у окна.
В неосвещенные покои
Ко мне с небес глядит луна.
Искрятся блестками обои
На стенах моего жилья.
Не в царстве ли волшебном я?
И ночь морозная, и горы,
И снегом занесенный лес,
И вечный звездный свод небес —
Все, все мои ласкает взоры:
Прекрасен мир, явленный мне
Картиной чудною в окне.

Поэту грустно. Он вспоминает о том, как жил в крепости, и чувствуется, что тоскует по ней. Там, предоставленный самому себе, он познал истинный восторг и вдохновение, а здесь, в суете людской, не может отдаться этим волнующим ощущениям. Правда, молиться не разучился, но не молитвенного умиления жаждет он сейчас, а священного творческого экстаза, порыва, бури — всего того, что было с ним в «гробу темницы» и чего — увы! — нет на воле:

В тюрьме провел я много лет,
С единым пребывая богом.
Почто ж опять я вышел в свет,
К людским заботам и тревогам?
Не лучше ль было жить вдали
От горестных сынов земли?
, ,

О днях былого заточенья
Пора настала пожалеть.
Мне б муки прежние терпеть,
Лишь только б слово откровенья,
Как в оны дни, звучало вновь,
И как тогда, вскипала б кровь.

Насколько сильным и тревожным было это перечувствованное Батеньковым настроение, свидетельствует одно из его писем, где почти дословно повторяются прозвучавшие в приведенных стихах элегические ламентации. Так же как в стихотворении «Раздумье», в письме сначала рисуется картина зимней лунной ночи, а затем — нечто подобное признанию Шильонского узника, который, выйдя на свободу, «по трюрьме своей вздохнул». Письмо это написано незадолго до нового 1855 г. Вот отрывок из него: «Морозная, но ясная лунная ночь, с блеском бесчетных звезд, проникает через не закрытые ставнями окна в неосвещенные покои моего жилья; горы и лес составляют раму картины, от которой я едва оторвался, предавшись мечте и думам. Я один: домик мой тепл и уютен; все, что мне нужно, со мною. Отчего же тяжесть на душе, и молитва, а не восторг ее состояние? — Не напрасно ли я опять вышел в жизнь и всосал в себя ее тревоги и горести? Пребывая некогда с одним Богом, я забыл, что люди мучаются и умирают; их всех не стало передо мною в один день, и я мог уж себя чувствовать свободным, как отрешенный от тела. Состояние мое позволительно назвать и счастьем... Настала пора жалеть и об этом, с наружи печальном времени»²⁰.

Нужно заметить, что по-настоящему свободным в Томске Батеньков себя вряд ли чувствовал. Забегая несколько вперед, укажем, что свое облегченное и радостное «ныне отпускаеши» он воскликнет в 1856 г., когда получит право уехать из Сибири в Европейскую Россию (см. стихотворение «Молитва старца»). Тогда же он назовет себя воскресшим в третий раз. Трижды умирал: на поле брани в 1814 г., в крепости, в Сибири — трижды воскресал, и каждое воскресение из мертвых сулило ему «новых скитаний дороги», ибо то ли в силу своих причуд, то ли волею судьбы он был, когда

²⁰ ЛБ, Елаг. — 2—64.

его не держали взаперти, скитальцем. В каких только городах и урочищах Евразии он не побывал — и это при столь длительном заточении.

Кстати, все это приличествует тому особому типу поэтов, к которому принадлежал Батеньков. Имеется в виду тип поэта-эксперименталиста. По поводу экспериментализма Батенькова нами уже были высказаны некоторые суждения, теперь же хотелось бы их обобщить, с тем чтобы яснее представить себе место Батенькова в истории русской литературы.

Батеньков — одно из важнейших «звеньев», которого остро недоставало для того, чтобы возникла реальная связь между двумя гениальными экспериментаторами, разделенными полутора столетиями: Тредиаковским и Хлебниковым. Благодаря его творчеству становится ясно: бесконечно многообразная русская поэзия знала, наряду с хорошо известными нам типами поэта-трибуна или поэта-мыслителя, еще и тип поэта-экспериментатора. Поэтам этого типа свойственны общие черты: глубокий и страстный интерес к эстетике чисел, к математике; особенное ощущение ритма истории и далее — вплоть до создания ярких и почти всегда оправданных неологизмов, до нарочито неуклюжих рифм. К этому можно лишь добавить, что русскому XIX веку известны и другие замечательные поэты-экспериментаторы: Ширинский-Шихматов, Бобров, Бенедиктов и др., т. е. Батеньков как поэт-экспериментатор отнюдь не одинок.

Соображения об экспериментализме Батенькова, важные для понимания всего его творчества в целом, применимы и к лирике сибирского периода. Более того, поставить его имя рядом с именем Хлебникова хотелось бы именно сейчас, когда в поле нашего зрения середина 50-х годов прошлого столетия, время учащенного пульса истории. Пульс этот бьется, как известно, в Крыму, а Батеньков из Томска мысленно к нему гнется — «потрогать», ощутить...

В этот период Батеньков особенно живо интересовался политическими событиями. Сохранились его стихотворные отклики на известия о Крымской войне — в письмах к Елагиной и в черновиках. Отклики эти весьма разнородны и разноречивы. В некоторых преобладает воинственно-патриотическое чувство, выражен-

ное также и в прозаическом комментарии автора к одному из своих стихотворных набросков: «Дружно гордо русское чувство! — восклицает Батеньков. — Долг запада навевать на нас теплоту, а в ледяных, твердых и бурных силах мы не истощимы».

Но особый интерес из набросков на тему о войне представляет следующее экспериментаторское двустишие Батенькова:

Сташу стопушечные с суши
И в сто узлов пушу бежать...

В поэтах-эксперименталистах всех времен есть что-то схожее, некая родственность. Поэтому, имея в виду, что Батеньков — подлинный поэт-эксперименталист, правомерно взглянуть на его странное двустишие сквозь призму представлений другой, позднейшей эпохи: 1914 год, солдаты воюют, поэты экспериментируют со словом. Выдвинут знаменитый лозунг Маяковского: «Можно не писать о войне, но надо писать войною!» — и как воплощение этого принципа звучит двустишие, тоже странное, Хлебникова, «звучит для меня такой какофонисй, — комментировал Маяковский, — какой я себе представляю войну»:

Железовут играет в бубен,
Надел на пальцы шумы пушек²¹

Позволим себе этот невинный анахронизм: батеньковское двустишие, так же как и хлебниковское (в них как бы общий «нерв» и звуковой заряд), может быть расценено как интереснейшая экспериментальная попытка «писать войною».

Окончание Крымской войны приблизительно совпадает с завершением сибирского периода в жизни и творчестве Батенькова. Незадолго до отъезда из Томска поэт сочинил стихотворение, в котором подвел итоги своей подспудной, почти никому не известной литературной работы. Собственно, итоги подводить было рановато: впереди еще несколько лет, причем довольно

²¹ Цит. по: Маяковский В. В. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. 1. М., ГИХЛ, 1955, с. 328.

плодотворных. Батеньков поторопился с завещанием. Наряду со всем этим написанное им стихотворение является наиболее смелым и рискованным поэтическим экспериментом.

Это опыт переложения 30-й оды Горация, того самого знаменитого «Памятника», который имел столь сильный резонанс в европейских литературах. Батеньков, конечно, хорошо знал русские варианты «Памятника» — известные произведения Державина и Пушкина — и наверняка понимал, что, в отличие от этих великих поэтов России, он, Батеньков, не имеет ни прав, ни оснований утверждать, что воздвиг себе памятник стихами. Какой там памятник, какая там всемирная или хотя бы все-российская слава, когда жизнь уже прожита и не напечатано ни единой стихотворной строчки! И тем не менее Батеньков пишет свой «Памятник», да еще не допускает при этом ни единой фальшивой нотки, ни единого преувеличения. В этом и заключается главный интерес дерзкого эксперимента: построить памятник «из ничего». Не могу, мол, рассчитывать ни на какой памятник (вставший перед поэтом непреодолимый экспериментальный барьер) — и все-таки пишу свой «памятник» (рискованная попытка преодолеть непреодолимый барьер).

Стихотворение свое Батеньков назвал «Non exegi monumentum» и уже одной этой находкой обосновал право экспериментировать с текстом 30-й оды Горация. Речь, значит, пойдет не о памятнике, а об его отсутствии, о некоем «антипамятнике». Плюсы подменяются минусами, восклицательные «я воздвиг!» — отрицательными «не воздвиг...». Чтобы решиться на такой ход, нужно понимать, что минусовая материальность может быть поэтически значимой, что отсутствие чего-то поэтически переживается ничуть не менее глубоко, чем присутствие, и перевернутые традиционные поэтические формулы не суть перечеркнутые, уничтоженные.

Себе я не воздвиг литого монумента,
Который бы затмил великость пирамид.
Неясный облик мой изустная легенда
В народной памяти едва ли сохранит.

Это первая строфа. Обратим внимание на эпитет *литой* — эпитет весомый, материальный и очень искус-

но употребленный. Кстати, Пушкин тоже не утверждал, что воздвиг себе *литой* монумент. Он говорил о нерукотворном памятнике, следовательно об идеальном (хотя и куда более значительном и даже реальном, нежели вещественный александрийский столп!). Мы убеждаемся в том, что представление о невоздвигнутом литом монументе отнюдь не противоположно представлению о воздвигнутом нерукотворном памятнике.

Итак, «не воздвиг». Многие стихотворения начинаются отрицанием, и это воспринимается как должное. Читатель ждет какого-то «но», после которого начнутся «плюсы», утверждения. Внимание мобилизуется: будет не литой монумент, а нечто другое, новое.

«Едва ли сохранит» — слова, облегчающие ожидаемый переход от отрицаний к утверждениям. Ведь полное отсутствие без всякой надежды на появление чего-то такого, что будет присутствовать, по самой своей природе бесплодно и пусто. Сказал бы Батеньков: «не сохранит» — и, возможно, сразу исчерпал бы тему. Формулировка же «едва ли» позволяет думать: а вдруг все-таки сохранит, вопреки всем сомнениям? И вторая строфа отчасти реализует эту маловероятную возможность:

Но весь я не умру: неведомый потомок
В пыли минувшего разыщет стертый след
И скажет: «Жил поэт, чей голос был негромок,
А все дошел до нас сквозь толщу многих лет».

У Державина: «Так, весь я не умру», у Пушкина: «Нет, весь я не умру», у Батенькова: «Но весь я не умру». А результат один: «не умру», хотя вели к нему разные пути. Батеньков надеется на потомка, который чуть ли не случайно узнает о нем и подивится тому, что и негромкий голос способен донестись через века и поколения к будущему. К тому же потомок поймет, что голос этот принадлежал поэту (не герою, не философу, не реформатору, а поэту), и уж, конечно, расскажет о нем тем, кого сочтет достойным:

Узнают обо мне в России необъятной
Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух.
Ни славой, ни молвой стоустой и превратной
Не отзовется вдруг прошелестевший слух.

И Державин, и Пушкин писали о повсеместной славе гения. Она распространяется от Белых вод до Черных, стелется по берегам могучих рек, проникает к финнам и тунгусам, славянам и калмыкам. О такой славе Батеньков не мечтал. Но ему есть что противопоставить ей: идею элитарности своего поэтического слова. Оно доступно и внятно немногим избранныкам, свыше вдохновенным безумцам, чей странный дух созвучен душе поэта, при жизни не замеченного современниками. Все это по-своему выглядит не менее гордо и торжественно, чем шумный успех и всенародное признание. Что же касается беспредельного пространства России, о котором писали великие поэты как о «вместилище» своей славы, то оно — это пространство — присутствует и в батеньковском стихотворении. Ведь «безумцы», которые узнают и полюбят Батенькова, рассредоточены по всей «России необъятной». Итак, пространство у Батенькова так же велико, как у его знаменитых предшественников, только у них оно «перенасыщено» их славой, в то время как батеньковской «славе» просторно живет в России, словно бы вольный ветер ее разносит, — «шелестит» слух о поэте:

О чем сей слух? О том, что в сумрачной Сибири
Влача свой долгий век, я истину искал,
Что был я одинок, но счастлив в этом мире
И в дни душевных гроз стихи свои слагал.

Начало первого стиха этой строфы («О чем сей слух?») звучит как эхо заключительного стиха строфы предшествующей. Каким бы ни был робким и скромным «слух» о Батенькове, он все же имеет отзвук. Да и содержание его вполне определено. К слову сказать, содержание 4-й строфы — это своего рода пробный камень всякого поэта, взявшегося по всем правилам написать свой «Памятник». За что, собственно, будут его чтить потомки? Чем будет он любезен народу? Нужно ответить: за то, что делал такие-то дела, или же за то, что сделал такие-то дела. Делал и сделал — несовершенный вид и совершенный — очень разные вещи. Несовершенный звучит намного скромнее. И Державин и Пушкин сочетают обе формы: кое-что они делали, кое-что сделали. Батеньков же, как это видно из текста,

ограничивается формами несовершенного вида: «искал» (а не «нашел»), «слагал» (а не «сложил»). Такая позиция в сущности неуязвима, потому что незаметно избавляет отчитывающегося перед потомками поэта от необходимости говорить о результатах его деятельности: пусть даже ничего не достиг, но зато ко многому стремился.

О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем
Вошедшего в твой храм угрюмого жреца:
Снискать не суждено сго песнотвореньям
Вечнозеленый лавр для твоего венца.

В этой последней строфе дсржавинскому «О Муза, возгордись!» противопоставлено батеньковское «О Муза! Не гордись...» — очередная «перевернутая» поэтическая формула. Интересно следующее: Державин и Пушкин понимают, что заслуги их безмерно велики, и все же предвидят насмешки и осуждения глупцов. Их гордую Музу кто-то может унизить — именно за то, что она гордая. У Батенькова мотив гордости устраняется, поэтому и о врагах речи нет. Свое поэтическое вдохновение он называет тяжелым, самого себя — угрюмым жрецом. Это не похвала, тем более не самовосхваление, но сказано это так значительно и горько, что здесь можно поставить точку: завершающий аккорд прозвучал в полную силу.

На этом можно было бы закончить анализ батеньковского «антипамятника», да и рассмотрение всей сибирской лирики в целом, но хочется подчеркнуть, что в «горацианском», итоговом стихотворении упоминается Сибирь. Не великие битвы наполеоновских войн, в которых участвовал Батеньков, не грозные события 1825 г., не двадцатилетнее заточение в крепости, а то, что в «сумрачной Сибири» жил и мыслил славный, хотя и не воздвигший себе памятника, сын своего времени. Неужели это последнее настолько существенно, что перевешивает все остальное, всю прошлую жизнь с ее войнами, тюрьмами и поэзией? В это трудно поверить, но пренебрегать мнением Батенькова нельзя.

Между тем по своему объему стихотворное наследие Батенькова, относимое нами к сибирскому периоду, невелико. Меньше, по сравнению с сочиненным в крепости и с тем, что будет сочинено в Европейской России.

При всем том не остается сомнений, что в Томске поэт работал много и жадно, очевидна напряженность творческой мысли и воли. Не исключено, конечно, что многое из написанного им в Сибири просто не сохранилось. Вероятно и другое. Именно в Томске Батеньков наиболее интенсивно припоминал и восстанавливал произведения, сочиненные в тюрьме, кое-что пересоздавал заново, и главное — заново все переживал. Отсюда и рождалось ощущение того, что прожитое в Сибири десятилетие является важнейшим этапом духовной деятельности.

Итак, сибирский период завершается. Батеньков спешит на Запад, в Европейскую Россию, торопится, проявляет редкое для него нетерпение (не в силах подождать, с риском для жизни переправляется по тонкому льду через реку). Он сам, по-видимому, понимает, что итоги подвел преждевременно. Новая жизнь начинается, правда, ей не суждено быть долгой, но она еще вместит в себя новые мысли, искания, тревоги и стихи.

Глава 5

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Встреча старого декабриста с Москвой оказалась волнующей и была эмоционально-поэтически пережита Батеньковым. Хотелось, писал он, разгоревшейся щекой прижаться к влажным от дождя куполам московских церквей, в ушах словно стоял надтреснутый звон никогда не звонившего Царь-колокола, ветер носил по площадям древней столицы опавшие листья.

Здесь, по этим площадям, думалось Батенькову, когда-то ходил Борис Годунов, считающийся основателем Томска, только что покинутого декабристом. Пушкин своей знаменитой трагедией не исчерпал тему Смутного времени и личности Бориса. Правда, соревноваться с Пушкиным Батеньков не думал. Просто он начал работу над драмой из русской истории начала XVII в. —

о Годунове. У него возникла потребность воссоздать дух и колорит старины. Драма не была закончена. Из нее сохранились, в частности, хоры девушек — в духе русских народных песен. В них широко использованы фольклорные мотивы:

За рекой вокруг холма
Рожь вздымается,
А княжна к ней сама
Приближается.
Весела и мила
Раскрасавица,
У обедни была
Добронравица.
Чудотворцам молилася
И как чудо явилася.

Интерес Батенькова к фольклору приобретает весьма устойчивый характер. Есть свидетельства, что он хотел издать песни, собранные П. В. Киреевским, который умер, не успев довести своего дела до конца. Песни, правда, были изданы без участия Батенькова, но сам факт его заинтересованности, готовности принять участие в этой работе заслуживает внимания. Киреевским эта готовность казалась непомерной претензией. Разумеется, фольклористом Батеньков не был, однако он разбирался в русских народных песнях, понимал и чувствовал их. Привлекала его также песенная поэзия русского сектантства. Не случайно создал он любопытнейшую «Песнь скопца», по которой можно судить о степени его знакомства со скопческим вероучением и фольклором. Скорее всего, ему доводилось общаться с представителями этой мрачной секты, слышать их гимны, повествующие о том, как «белы голуби летят тучами, за крест мучимы, — все скопцы, купцы земли греческой», притчи о райской Сладим-реке и белых кораблях скопческих общин. «Возрастала чистота, веселилась высота», — поют сектанты, и, словно вторя им, играя избыточными внутренними рифмами и передавая судорожный ритм хлыстовско-скопческих радений, поэт восклицает:

Христу хвала! Христу хвала!
Небес веселых высота!
Телес бесполох чистота!

Старинные русские города — Москва, Калуга, Белев, где теперь приходилось бывать и подолгу жить Батенькову, убогие деревеньки, рассыпанные в глуши около-московских губерний и уездов, природа этой полосы — ко всему приглядывался поэт с теплым и грустным чувством блудного сына, чьи странствия были слишком долгими, а теперь вот обретен последний приют, мирное пристанище, где надлежит провести остаток жизни. Хотя родина декабриста — Сибирь, все же он ощущал приезд в Европейскую Россию как возвращение домой, к родным пенатам. Елагина, разлука с которой длилась три десятилетия, оказалась по-прежнему близкой и милой — недаром он называл ее сестрой.

В Батенькове под влиянием среднерусской природы просыпается долго дремавший лирик-пейзажист. Он становится проще и наблюдательнее, ближе к земле: раньше в его стихах преобладали ликующие космические пейзажи, теперь — то, что рядом. Гремит ручей в овраге — поэт слышит, размытую глину на крутом берегу Оки — видит, пойму затопило во время оттепели — готово стихотворение на эту тему. Дорожная пыль летит в закатном свете садящегося в тучу солнца — тоже замечено и «воспето». Интонации при этом — доверительные, интимные, больше искренней задушевности.

Так называемое «пейзажное мастерство» Батеньков в свое время проявил — будучи в Свартгольме. Природа финских островов живописана им в поэме «Одиচальй» ярко и своеобразно. Впоследствии ничего похожего по силе и выразительности не было. И вот, уже в конце жизни, снова в поэзию врывается природа: земля с ее выпуклостями и впадинами, тающий снег, распутица. И, по-видимому, не случайно, что, живя в Сибири, Батеньков не вспоминал и не думал о Свартгольме (зато часто вспоминал о Петропавловской), а теперь, «вернувшись» к природе, все чаще воскрешает в памяти видения финских островов, и они подчас как бы «наплывают» на изображаемые среднерусские картины, сливаются с ними и вновь тревожат успокаивающееся воображение:

Истаял снег, и под водой
Близ речки оказалась пойма.
Ну впрямь подобие Швартгольма:
Борей и будто шум морской.

Сей остров окружен не морем,
А все, как там, и страшно мне
С забытым вновь спознаться горем,
Хотя бы и в минутном сне...

Это из стихотворения «Оттепель в Уткине». А есть еще стихотворение «Север», в котором поэт признается, что душу его всегда влекло к мертвой пустыне Севера — туда, где слышен шум и видно тусклое мерцание «мрачных волн», гонимых Борею, где ощутимо дыхание норда. И вот случилось так, что странная эта мечта сбылась: «Я стал островитянин» (опять намек на Аландские острова, на Свартгольм), но вместо радости слияния с желанным Севером — смятение и растерянность воцарились в душе поэта. И хотя его «хижина» далека от проклятых северных островов, временами чудится, что вот-вот нахлынут сюда, в глушь Белевского уезда, мрачные волны, крутившиеся и шумевшие вокруг Свартгольма.

Напомним, что именно в этот период, в последние годы жизни Батенькова, впервые опубликована свартгольмская поэма «Одичалый» (через 32 года после того как она была сочинена) — первое и единственное поэтическое произведение декабриста, увидевшее свет при его жизни. Конечно, уже самый факт этой публикации должен был всколыхнуть и оживить свартгольмские воспоминания, и неудивительно, что призрак суровой финской крепости чаще прежнего являлся к Батенькову.

Созерцание природы не только будит воспоминания, но и паталкивает на философские размышления. Пейзаж Батенькова либо одухотворен, либо жаждет одухотворения. Вот, например, размытая глина на вязком берегу Оки («Отрывок»). Из нее хочется вылепить фигурки людей, вдохнуть в них живую душу и расселить в глиняном царстве. Это — жажда творчества. Готово материализоваться давнее стремление Батенькова к созданию своего собственного мира: для него найден строительный материал.

Первоэлементом бытия Батеньков считал круг. Его всегда влекло то, что кругло, циклично, вращательно, кольцообразно. Неравнодушен он был и к отдельным частям круга: дуге, изгибу и пр. В природе и в человеческой жизни поэт склонен видеть всевозможные кру-

ги и повороты. Река окаймляет город — превосходно! Странник кружится по свету — радостно! Это некие очарованные, околдованные формы и движения, на них лежит печать фатальной неизбежности:

Глаза издавна приобькли
Провидеть неизбежность в цикле
Коловращательных премен.

«В цикле коловращательных премен» (стихотворение «На приезд мой в Калугу») — на это стоит обратить внимание. Здесь мы приближаемся к разгадке одного из секретов батеньковского поэтического «корнесловия». Как всякий подлинный экспериментатор, Батеньков не чужд проблемам так называемой поэтической этимологии. На первом плане — группа слов с более или менее явным значением круга, круглоты. С ними — семантически, фонически, иногда на уровне «ложной» этимологии — соотнесены другие слова:

Власть очарованного круга
И непреложна и круга.
В самом названии: Калуга —
Все та же скрыта круглота.

Как видим, рифмуются все «круглые» («крутые») слова, в их число попала и *Калуга*, хотя и не заключающая в себе ничего круглого, но этимологизированная поэтом — вопреки лингвистической истине — в соотнесенности с все той же «круглотой». Созвучие *Калуга* — *круга* создает иллюзию убедительности такого решения. А следующая за этим четверостишием строка «Меня Окою окаймленный...» опять-таки замыкается «округлостью»: окаймленный — значит окруженный.

Но игра с кольцом — опасная игра. Движение по кругу неизбежно приводит в первоначальную точку. Авдуг и время обратимо, кольцеобразно? В таком случае вырвавшийся из заточения человек, совершив по жизни некий круг, неминуемо вернется к прежнему состоянию, т. е. опять окажется за решеткой — в том же месте и в то же время, где и когда сидел раньше. Эта печальная перспектива страшит Батенькова:

Боюсь я: время обратимо,
Ничто не пролетает мимо,
Вернется ужас прошлых лет,
И вновь из мира исторженный,
Последних радостей лишенный,
Очнется в крепости поэт.
Есть безнадежность роковая
В круговращении бытия.
Умру, с тоскою сознавая,
Что вскоре вновь воскресну я.
Кольцо, кольцо! Символ жестокой!

Вот уж воистину: умереть человеку спокойно не дадут. Блоковское: «Умрешь — начнешь опять сначала,/ И повторится все, как встарь», — тревожно предугадано Батеньковым. Он уже не ощущает бессмертие как отраду (в «Одичалом» — ощущал). Грядущее воскресение не радует. О том, что ему должно предшествовать, т. е. о самой смерти, которая, видимо, уже недалека, Батеньков стал задумываться все чаще. Шутя он называл ее отставкой: после выслуги законных лет человеку суждены безделье и неприкаянность в пустом, бесплотном, нематериальном бытии, вне пространства и времени. На земле, среди людей, он ершился, «щетинился», а после смерти его одинокий дух, отчужденный от тела и уже не способный «щетиниться», будет витать где-то на солнце, причем солнце в данном случае — это не небесное тело, занимающее определенное место в астрономическом пространстве, а некий светозарный вакуум потустороннего мира. Казалось бы, это идеал свободы, воли, отрешенности от земных уз, но такую сомнительную волю поэт именуется презрительно-уменьшительно — не воля, а «вольца»:

В отставке быть хитро; и чем,
Как пощетинишься на вольце?
Все ум, все дух, один, ни с кем,
Без места, без земли, на солнце.

Готовясь к «исчезновению» из жизни, Батеньков хочет понять и осмыслить: для чего он жил? какое наследство оставляет людям? Давно уже написан «Памятник», дающий ответ на подобные вопросы, но они снова возникают: нужно еще сказать о напрасно рас-

траченных силах, о неутоленной жажде добра и подвига. Впрочем, поэт несколько иронически относится к своему стремлению служить общественному благу. Допустим, послужить не удалось. Ну, а если бы удалось? О, тогда бы такую кашу заварил, что потомки едва ли бы ее расхлебали. Так что, может быть, оно и к лучшему, что не исполнились дерзкие замыслы беспокойного реформатора: по крайней мере, над его могилой прозвучат не проклятия, а умеренно-сочувственные речи. Именно таким настроением проникнута своеобразная автоэпитафия Батенькова («Язык коснеет, кровь хладеет»).

Предчувствие близкого конца сказалось и в стихотворении, написанном к десятилетию со дня смерти Жуковского, с которым Батеньков был хорошо знаком в свое время. Стихотворение выдержано в размере элегии «Теон и Эсхин», однако батеньковская лексика намного архаичнее, чем лексика автора «Теона и Эсхина»:

Мой близится горестный путь к рубежу,
За коим видна беспредельность,
И яко цевница звяцает мое
К скорбям приобыхшее сердце...

Яко, звяцает — неужели это 60-е годы XIX в., некрасовская эпоха? Никто так не писал в то время. Дремучая архаика, «глубокословная словенщизна» — все это было давно забыто. Об этом помнили в XVIII столетии, в первой четверти XIX, когда бурлили полемики «архаистов» с «новаторами», как их метко называл Ю. Н. Тынянов. В 60-е же годы «словенщизна» не актуальна даже как мишень для литературных пародий. Всем уже давно ясно, что церковнославянский язык — применительно к развивающейся литературе нового времени — мертвый; сколько его ни «гальванизируй», жизнь вдохнуть в него невозможно. Однако соблазнительны для поэта-экспериментатора подобного рода гальванизм и некромантия. Особенно остро это чувствовал Ширинский-Шихматов в первые годы XIX в. И Батеньков — полстолетия спустя.

Поэтическая интонация, живая и гибкая, есть та самая электрическая искра, которая, пронизав груды мертвых слов, заставляет их, косневших в неподвижно-

сти, эмоционально и жизнеподобно вибрировать. Не правда ли, поэтичностью повеяло бы от такого, например, исповедального излияния: «Недаром струна зазвела в скорбящем моем сердце — меня бури не сломили и смерть не страшит...». Но чтобы выразить эту животрепещущую и прекрасную мысль, поэт нагнетает мертвые, странные слова, сталкивая их в причудливом сочетании и извлекая из такого сочетания самые неожиданные стилистические эффекты:

Недаром цевницей звяцает мое
К скорбям приобывшее сердце:
Над нами и бури ярились вотще,
Над нами и тленье не властно.

Эксперимент вполне удался. Обаяние глубокого смысла и ритмико-интонационного движения преобразует и облагораживает «заупокойный лом» церковно-славянских словес. А звукописная композиция свистящих согласных — «цевницей звяцает» — воспроизводит, кроме всего, тот музыкальный стон сердца, о котором дважды говорится в стихотворении.

Итак, батеньковское экспериментаторство сродни тому, что мы условно называем филологической некромантией. Поэту удобнее и привычнее всего работать над омертвевшим языковым материалом, возвращая ему если не жизнь, то некое ее подобие. Всевозможные «дондеже» и «поелику» — слова неживые, но в том-то и интерес, чтобы заставить отнестись к ним, как к живым.

Литературный старовер и «арханст», Батеньков в конце жизни написал две оды — каждая по десять строф и соответственно по сто стихов. Взятые вместе — общая тональность и стилистическое единство дают повод рассматривать их как части одного целого, — они составляют крупную поэму, размером превышающую даже поэму «Одичалый». К этому произведению в полной мере применимы высказанные выше соображения относительно особого характера батеньковского поэтического эксперимента.

Первая ода — «Великий муж», в свою очередь делится на две равные части: «Портрет» и «Метаморфоза». Сначала автор рассказывает о том, каким был

великий муж, потом — во что он превратился. Позволительно предположить, что под «великим мужем» Батеньков отчасти подразумевает себя. Итак, герой — человек замечательных достоинств, образец нравственности и духовной силы, но увы! — такие люди не пользуются в этом суетном мире успехом. Какой-нибудь плут или вертопрах окружен любовным вниманием прелестных дев, удачлив в служебной карьере, срывает цветы удовольствия, да еще смеется над высокой добродетелью... А тот, чья мудрость и добродетель достойны уважения и преклонения, — осмеян и одинок и, разумеется, отстранен от государственной деятельности, на поприще которой принес бы много пользы. Этот последний мотив, несомненно, связан с традицией гражданственности, идущей от декабристской поэзии 10—20-х годов:

Тому, чья доблесть безупречна,
Ключи правленья не даны.
Неприхотлива и беспечна —
Увы! — история страны.
Слепой ея вершитель случай,
И ум великий, ум могучий,
В пустом бездействии томясь,
Вотще ей правый путь укажет
И слово истины ей скажет:
Затоптан будет бисер в грязь.

Торжествующая пошлость не только издевается над «великим мужем», называя его ханжой и брюзгой, надменным «тупцом», но и изгоняет прочь, в безлюдную пустыню. Здесь и происходит чудесная метаморфоза: превращение изгнанника в дерево жизни. «Великий муж» сбрасывает с себя одежды, и вдруг тело его покрывается древесной корой, ноги, как корни, впиваются в знойные пески, руки становятся ветвями, а седые кудри венчает зеленая листва. В безводной пустыне, под ветвями этого могучего дерева, образуется оазис:

Обильный влагою оазис
В пустыне островом возник,
Когда луна в четвертый фазис
Свой бледный обратила лик.

Дерево зацветает, и вскоре приносит сладчайшие плоды. Оно безмолвно, но теперь к нему с песней при-

ходят юноши и девы — вкусить этих плодов, которые заменили мачехе-отчизне, отторгнувшей своего великого пасынка, «иссякший ток живой воды». Раньше казалось, что жизнь бьет ключом в тех веселых насмешниках, удалых хватах и тузах, которые изгнали в пустыню безжизненного педанта, схоласта; теперь оказывается, что подлинные истоки жизни таились именно в этом одиноком и неуживчивом мудреце, «великом муже», его же обидчики лишены «животворящей силы», гниют, как плевелы, «и вскоре ветры-борзокрилы их прах по свету разнесут».

Вторая ода — «Гордыня», как и первая, делится на две равные части, хотя они и не выделены. Начальные пять строф построены по принципу внешне безукоризненного, логически неуязвимого силлогизма:

все люди гордятся исключительно теми своими добродетелями, которыми на самом деле не обладают;
я горжусь своим умом;
следовательно, я безумен.

Стало быть, нужно истребить гордыню, чтобы все стало на свои места: трусы не выдавали бы себя за храбрецов, уроды — за красавцев, неудачники в любви — за сердцеедов, а безумцы — за мудрецов. Ибо гордыня, и только она, побуждает нас казаться не тем, что мы представляем собой в действительности. Батеньковский силлогизм не только логичен — он выстрадан поэтом, подкреплен печальным опытом его жизни: декабрист гордился своим высоким и незаурядным умом, силою своей мысли, гордился — и сошел с ума, а впад в безумие, и подавно сделался одержимым манией величия. И вот теперь он готов приравнять себя к другим жалким гордцам — вплоть до кичащегося своей несуществующей храбростью труса. Убедительно. И кажется, что неопровержимо.

Но силлогизм-то оказался софизмом. И опровергает его сам Батеньков — второй половиной оды. Есть гордыня, как бы вспоминает он, а есть тщеславие. Какой-нибудь хлыщ, тщетно пытающийся блеснуть донжуанством, тщеславен — и не более того: гордыня тут ни при чем. Вдохновенный безумец, стремящийся постигнуть непостижимые тайны бытия, одержим духом гордыни, а не тщеславия, поэтому нельзя ставить их в один ряд.

Тщеславие мелочно и пошло по своей природе, а гордыня — мощный двигатель духа, рвущегося к беспредельному.

Поэт раскаивается в том, что напрасно и необдуманно осуждал гордыню. Не будь ее, он не мог бы парить в небесах. Вот и теперь он надеется, что демон гордыни вознесет его к горным высям. Но здесь-то и наступает драматический кризис в неустанной работе мысли: иссушенная схоластической игрой с абстракциями и силлогизмами, она не готова к дерзновенному полету:

Да воспарю! Но ах: усталость
Претит полету в небеса.
Ум, схоластическую шалость
С себе позволив, не взвился
Орлом, но дремлет, обессилив,
Громам не внемлет, обескрылев.
С абстрактами неравный бой
Нас отягчает, утомляет
И, яко оцт, не утоляет
Духовной жажды в жаркий зной.

Но концовка оды звучит оптимистично. Отдохнет измученный абстракциями ум — и взовьется-таки в поднебесье. Гордыня восторжествует. Заключительные строки воссоздают зримый образ (вернее, символ) гордыни: она предстает перед нами в виде алого безбрежного океана. Инструментовка этих стихов отличается особой выразительностью, эвфония исключительно яркая (повторы ударных *я* в одном стихе, консонантных сочетаний *рд* и *стр* в других):

Смотри: безбрежный, величавый,
В лучах зари и вечной славы,
Ея сияньем осяян,
Вздымаясь мощными волнами,
Струясь студеными струями,
Гордыни *рдеет* океан.

Для композиции оды «Гордыня» характерна тщательно продуманная и выверенная стройность, особого рода симметрия. Мы уже отмечали ее четкую разделенность на две части. Но мало этого. Из десяти строф третья, шестая и девятая (номера, кратные трем) включают в себя частично тождественные, частично сходные

стихи. Читатель без труда заметит, что первому четверостишию третьей строфы эхом вторит заключительное трехстишие шестой строфы и девятая строфа завершается так же, как третья. Таким образом, магия тройственности сочетается с господством «круглой» цифры — 10, 100 (десять строф, сто стихов), что дает повод для аналогий с композиционными секретами «Божественной комедии» Данте, состоящей из ста песен и в то же время подчиняющейся законам троичности.

Мы уже рассматривали батеньковские оды тюремного периода, причем речь шла о необычных строфических конфигурациях, встречающихся в «Тюремной песни» и в других произведениях. Как видно, нечто подобное дает о себе знать и много лет спустя. По-прежнему Батеньков экспериментирует с одической децимой, тем более что к концу жизни он почти не пользуется другой строфикой. Своеобразный вариант децимы представлен, например, в стихотворении «Песни дорожные»: там, где положено быть женскому стиху, — стоит мужской, и наоборот, а после каждого 10-стишия следует припев, вовсе не характерный для оды:

Колеса подмазаны,
Чемоданы завязаны,
Вальки привязаны,
Все слова сказаны.

Несомненно, отрывком из оды является и последнее из дошедших до нас маленькое (всего 8 строк) стихотворение Батенькова, написанное осенью 1862 г. Оно, в частности, любопытно тем, что в нем варьируется древняя тема распри между орлом и змеей. Змея здесь — та, которую топчет конь знаменитого Медного всадника, орел двуглавый — герб России. Орел летит к солнцу, «а всадник, им в груди несомый, давно копытом змея мнет». Это стихотворение вошло в письмо Батенькова к Н. А. Елагину; тон письма — иронический, и это позволяет думать, что батеньковская ода тоже иронична, возможно, — пародийна.

Каково же общее впечатление от батеньковской лирики последних лет (подводя итоги, мы имеем в виду отчасти и сибирский период, но прежде всего — последующий, европейский)? Чувствуется, что поэт в эти го-

ды хотел писать много и о многом. О многом новом, т. е. о таком, что раньше как-то не замечалось, не входило в поле зрения, не затрагивало. Стилистическая палитра и тематический репертуар Батенькова заметно обогащаются, причем в значительной мере за счет обостряющегося интереса ко всему житейскому, практически обозримому — в противовес отвлеченному, потустороннему, трансцендентному. Но главная, магистральная линия в поэзии Батенькова остается прежней. Об этом свидетельствуют батеньковские оды конца 50 — начала 60-х годов, в которых философское начало явно преобладает над «житейским». Впрочем, ошибочно было бы расценивать это как некий консерватизм поэта, тормозящий его духовное развитие и приобщение к новым ценностям. Ведь его постоянная приверженность к тому, что иногда иронически именуют высокими материями, не выливалась в монотонность, в повторяемость одних и тех же форм, мотивов и т. п. Мы как раз убедились в обратном: это были непрерывные поиски, эксперименты, неожиданности. В этом отношении потенции «высокой поэзии» вообще и философской лирики в частности, по-видимому, неограничены.

Более ста лет стихотворения позднего Батенькова не видели света и вообще не привлекали ничего внимания, даже исследователей, интересовавшихся личностью поэта-декабриста. Теперь им как бы заново предстоит родиться. «Приживутся» ли они, в свое время не прозвучавшие, в столь изменившихся по сравнению с тем временем условиях нашей духовной культуры — покажет будущее.

Глава 6

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СРЕДО И САМОСОЗНАНИЕ ПОЭТА

Время от времени литературоведам приходится снимать «очки-велосипед» и слушать, что рассказывают «о времени и о себе» сами поэты прошедших эпох. Но не всяким свидетельствам следует верить. В частности, это

касается излишне суровых самооценок (ведь некоторые настоящие поэты поистине беспощадны к себе).

«...Выдавать себя поэтом я отнюдь не намерен, а избрал мою форму потому, чтоб потратить менее слов и легче их удержать в памяти, когда, по обстоятельствам, ничего писать не имел я возможности»²², — так комментировал Батеньков одно из замечательных своих произведений — оду «К математике». Разумеется, такая оценка нас удовлетворить не может, так как поэзия Батенькова — это настоящая поэзия, а не просто рифмованные формулировки тех или иных высказываний ученого-философа. Между тем приведенная самооценка чрезвычайно характерна для русской свободолюбивой поэзии, к традициям которой примыкал Батеньков. Существовала же парадоксальная формула «я не поэт», — парадоксальная потому, что такое признание исходило из уст поэта. «Я не поэт, а гражданин», — заявлял, например, Рылеев в посвящении к поэме «Войнаровский». Поэт околodeкабристского круга Д. Давыдов писал: «Я не поэт, — я партизан, казак». Пушкин в зачине к оде «Вольность» и в стихотворении «Деревня» тоже отрекался от звания поэта, а неизвестный стихотворец, «перевравший» на свой лад пушкинскую «Вольность», восклицал: «Я не поэт, возьмите лиру». По-видимому, суровую батеньковскую самооценку следует рассматривать в ряду аналогичных мотивов, прозвучавших в разных стихотворениях разных поэтов, чтобы уяснить условности подобных решительных приговоров и не впасть в заблуждение.

И совсем может сбить с толку такое, например, суровое заявление Батенькова по поводу Шишкова и его филологических штудий: «...Из русского лексикона хлынут эмигранты, принадлежащие шайке инсургентов новой школы. Влияние уступит наваждению, гений заменится розмыслом, уважению явится на смену главенство, и соображение запищит под пятою умозаключения. — «Быша» и «убо» всплывут наверх, яко елей на источнике водном, имена займут принадлежащее им место на правом, а все глаголы на левом фланге периодов, и таким образом устроится порядок против нечистой силы

²² ЛБ, Бат. — 6—10.

карамзинизмов, жуковскоизмов, пушкинизмов»²³. Так, в письме к А. А. Елагину Батеньков высмеивал «архаистов», школу Шишкова, в карикатурном виде представляя задуманную сторонниками Шишкова реформу русского литературного языка. «В том же письме, — отметил Т. Г. Снытко, — Батеньков заявлял, что не желает употреблять ни «оного», ни «сего», и действительно, в его рукописях мы почти не встречаем этих слов»²⁴. Но, во-первых, они все-таки есть, во-вторых, встречаем всевозможные «яко», «есмы», «дабы» и пр., и, в-третьих, все творчество Батенькова, взятое в целом, представляет собой творчество поэта-архаиста, которому традиции Шишкова и Шихматова гораздо ближе, чем традиции Карамзина и Жуковского.

В чем же дело?

В том, вероятно, что цитированное письмо относится к 1824 г., когда Батеньков еще не связал всерьез свою жизнь и судьбу с литературой. Стихи на случай, легковесные «экспромты», эпиграммы — не в счет. Кстати, они действительно незамысловаты и даже слегка дурашливы, «арзамасского» в них больше, чем напыщенности и серьезности в духе «Беседы» (и церковнославянизмы, разумеется, отсутствуют). Но мы должны помнить, что впоследствии все изменится, что Батеньков станет подлинным «архаистом», и это — главное. Так же как в лицейской лирике Пушкина невозможно угадать будущего создателя «Годунова», «Медного всадника» или в некрасовских «Мечтах и звуках» — будущего автора «Кому на Руси...» и «Современников», так же и в виршах Батенькова до 1825—1827 гг. нет еще подлинного Батенькова.

Иное дело — в середине 40-х годов: за плечами десятилетия узничества, сотни сочиненных стихов, обо многом передумано, накопился обильный материал для обобщений. Вызревает целая эстетическая концепция, соотнесенная с многолетним опытом собственного поэтического творчества. И любопытно, что именно в эти годы Батеньков вплотную подходит к приятию принципов декабристской эстетики (хотя и формулирует их по-своему). Отъединенность узника, резкая индивиду-

²³ Батеньков Г. С., Пущин И. И., Толль Э.-Г. Письма М., 1936, с. 144.

²⁴ «Литературное наследство», т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 304.

альность и своеобразие его поэтических опытов, углубление в себя — все это нисколько не отдалило, а наоборот, приблизило Батенькова к эстетическому сгедо декабристов, сложившемуся еще в 20-е годы.

Итак, Батеньков не только поэт, художник, но своего рода теоретик искусства, прежде всего искусства слова. Сохранились многие его разрозненные замечания, касающиеся вопросов литературы и искусства. В относительно законченном виде Батеньков изложил систему своих эстетических взглядов в «Писаниях сумасшедшего». Именно здесь высказаны основные, наиболее принципиальные положения, которые, на наш взгляд, лежат в пределах декабристской эстетики. И не следует смущаться тем, что сформулированы они через много лет после того, как эстетическая мысль декабризма замерла. Проведя эти годы в одиночном заключении, Батеньков не испытывал никаких внешних влияний, которые стимулировали бы эволюцию его эстетической мысли. Он лишь осмысливал то, что до заключения могло в нем формироваться, складываться (но не сформировалось и не сложилось в рассеянности свободной, несосредоточенной жизни).

К вопросам литературной теории Батеньков возвращался и впоследствии, выйдя на свободу. Но то были всего лишь пробы пера — не столь системные, не столь интересные. Они и не требуют такого пристального внимания, какое мы должны уделить «Писаниям сумасшедшего».

В эстетической теории Батенькова есть отзвуки и чуждых декабризму положений, восходящих к устаревшим концепциям. Но и эти чуждые отзвуки ему удается порой гармонично сочетать с принципами декабристской эстетики. Так, например, он преувеличивает значение тропа в искусстве слова, подражая, по-видимому, древним; говорит о некоем высшем красноречии и о просто красноречии — не влияние ли теории «штилей»? Но все это подготавливает вывод, который сделан Батеньковым в духе декабристской эстетики: простое красноречие годится для обыденной жизни и для «безотчетной» поэзии, а есть иная поэзия — поэзия для «правления», т. е. гражданственная, призванная вмешиваться в государственные дела, дела правления. Для такой поэзии «потребно высшее красноречие».

Тропы наполняют поэзию всякого рода двусмысленностями. Последние имеют право на существование в обыденной жизни, в «безотчетной» поэзии (удачно найдено определение «безотчетная»: поэту, который пишет не для «правления», не придется отчитываться ни в чем перед государством и народом). Более того, «художество речи» от этого только выигрывает: благодаря тропам и фигурам создается игра оттенков, и здесь самая двусмысленность может быть достоинством. Но в «поэзии для правления» не должно быть места двусмысленностям, следовательно, — она не терпит тропов. Ей нужны однозначные слова, четкая поэтическая терминология: «Те соотношения, кои неслышны были в обыкновенном письме и речи, яко намеренные, требуют уже (в высшем красноречии, в «поэзии для правления». — А. И.) особого знака, чтобы высокому понятию не дать сомнительного изъяснения». Но это для Батенькова не означает, что жрец «поэзии для правления» чужд поэтическому мастерству, коль скоро он отказывается от тропов: в поэзии тропы стали настолько привычными, что от них труднее отказаться, чем ими пользоваться. Труднее подобрать единственно нужные, недвусмысленные слова, чем расцветить текст тропами. Поэтому «в высшем красноречии просодия слышна в употреблении слов». Справился с этой сложной задачей поэт или нет — в зависимости от этого «явно бывает или поглощается высокое».

Батеньков излагает свою концепцию очень сбивчиво, путано — мешает болезнь. Он часто отвлекается от темы. Словно забыв, что пишет о поэзии, пускается в длинные рассуждения о химии и других посторонних предметах, но вдруг ловит себя на одной фразе, которую перегрузил союзами «и», и это дает ему повод вернуться к разговору о поэтическом языке, об «анатомии стихотворчества». Его слова: «По-русски негладко (умное) пишешь, потому что не достаёт сослагательного: членов, сложных времен в глаголах, и синтаксис деревянеет. Крайний недостаток. Надобно искать в словенском».

Все эти мысли мог бы высказать почти любой литератор-декабрист в 10-е годы, в период возрождения витийственного классицизма, на традициях которого строилась новая гражданская поэзия. Стремление к высо-

кому, дух аскетизма, самоограничения, культ строгой логики, недоверие к красотам живописного и звучного языка, насыщенного тропами и метафорами (на этой почве возникло своеобразное «отталкивание» поэтов-декабристов от Жуковского), требование однозначности поэтического слова, склонность к архаическому письму в стиле XVIII в., к торжественным славянизмам — все это основные принципы декабристской эстетики, и их в полной мере разделяет Батеньков.

Нетрудно поэтому его высказывания соотнести с литературными выступлениями декабристов и Пушкина, состоявшимися в эпоху расцвета русской революционной поэзии и эстетики. Вспомним, например, за что критиковал Рылеев поэзию Жуковского: «Мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность... растлили многих и много зла наделали»²⁵, — писал декабрист Пушкину, выдвигая требование определенности, логической проясненности и поэтического слова. И он не одинок; сходные мысли высказывались и Пушкиным, и декабристами — друзьями Рылеева. Вот что пишет, например, Пушкин в 1825 г.: «Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится еще у нас в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного, точного языка прозы, т. е. языка мыслей)». Французского или «словенского» — не так уж это в данном случае важно: средства могут быть разные, а цель единая: логизация языка. О том же несколькими годами раньше Пушкина говорил Бестужев-Марлинский; он признавал богатство русского языка в «живописном» и «звучном» выражении, но при этом указывал, что в «логическом и метафизическом» отношении наш язык еще не достиг должного уровня.

И Пушкин, и Бестужев-Марлинский, ратуя за «логический» и «метафизический» язык, имели в виду не только и не столько поэзию, сколько прозу, публицистику, науку. Однако же их высказывания относятся и к поэзии: язык политической сатиры, произведений философской и гражданской лирики, в которых есть эле-

²⁵ Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, докл. записки, письма. М., 1956, с. 303.

мент «логики» и «метафизики», не должен быть только «живописным и звучным». Характерно, кстати, что Марлинский писал о том же и в стихах и о стихах («Подражание первой сатире Буало», «К некоторым поэтам»), с поистине шишковским пафосом выступая против всего внелогического, «сомнамбулического», что противоречит строгой грамматике и здравому смыслу. В основе всего этого лежит убеждение, к которому, как мы видели, пришел впоследствии и Батеньков и согласно которому гражданская, революционная поэзия требует прежде всего логической четкости и строгой однозначности слова.

В этой связи можно было бы вспомнить и Ф. Н. Глинку, который в «Письмах русского офицера» заботился о том, чтобы слог его не был «витиеватым и кудреватым», но отличался бы «простотою и истиною»; и Кюхельбекера, писавшего о том же в «Разборе фон-дер-Берговых переводов русских стихотворений», — однако примеров достаточно. Ясно, что Батеньков мыслит как декабрист, когда пишет, что в гражданской поэзии «высокие понятия» требуют «особого знака, чтобы высокому понятию не дать сомнительного изъяснения». Здесь — те же, хорошо нам известные заботы о логизации поэтического слова, о создании метафизического языка.

Суховат и жестковат, судя по всему, должен быть язык логики и метафизики, и нужно быть настоящим аскетом, чтобы выдержать его, не поддавшись соблазнам живописности и звучности, противопоставленных «языку мыслей». Эти соблазны Батеньков отвергает как теоретик, но часто уступает им как поэт. Теория противоречит практике. Но ведь это общий «грех», не только батеньковский. Другим проповедникам метафизического и логического языка случалось писать не менее метафорично и цветисто, чем Батенькову (вспомним хотя бы Марлинского!).

Далее: «Надобно искать в словенском». Сравним это заявление Батенькова с его давними насмешками над «быша», «убо», «оного». Теперь его позиция резко изменилась. Он вступает на путь, которым шли Катенин, Кюхельбекер и другие архаисты, и, наверное, готов идти даже дальше их. Шишкову и Шихматову он, правда, в любви не объясняется, но уже не позволит себе иронии в их адрес. Они ведь тоже «искали в словен-

ском» образец русского литературного языка. Это в духе классицизма, Батеньков же к 1845 г. сложился как убежденный сторонник гражданского классицизма, вступив тем самым в этап, которого не миновал ни один крупный литератор-декабрист старшего поколения. «Хоть поздно» (используем здесь слова Пушкина), но и Батеньков «классицизму отдал честь».

Но опыт романтизма, в духе которого создана поэма «Одичалый» и следы которого мы находим в других произведениях поэта, не прошел бесследно для Батенькова-теоретика, и в «Писаниях», излагая свою концепцию, он отдает значительную дань романтическому вкусу, духу новаторства и разрушения канонов. Батеньков пишет: «Часто через противоположность воле и разуму, науке и художеству, не выключая простой грамматики (т. е. и через противоположность грамматике, противоречия и грамматике. — А. И.), не иначе чем через отступление от арифметики — можно продвигаться вперед». Мысль понятна. Сторонник строгого классицизма с его прямолинейной однозначностью, с его рационализмом и грамматической ортодоксальностью, Батеньков вдруг начинает проповедовать нарушение самых строжайших запретов, оправдывая его вдохновением, которое выше грамматики, выше разума и воли. Это уже романтическая программа, и в ней также сказалась декабристская закваска: поэты-декабристы шли от классицизма к романтизму, разрушая воздвигнутое ими же классически стройное здание школы, в которой они брали уроки витийственной гражданственности, — разрушая, ибо наступала пора заменить выученную гражданственность свободной, вдохновенной. Потому и не пропали даром уроки классицизма, что ими дело не кончилось.

Самобытный талант Батенькова причастен многим и самым разнородным стихиям поэтического слова. Батенькову-теоретику было что обобщать. Говоря о его эстетических воззрениях, мы пытались сосредоточить внимание на тех сторонах концепции, которые характеризуют поэта как литератора-декабриста, — это представляется наиболее интересным. Но можно еще прибавить, что Батеньков оставил глубокие и своеобразные обобщения в области психологии творчества. Оригинально, например, решил он вопрос о «несвободе»

поэта, стремящегося творить свободно, не зависеть от некоего всеильного диктатора свыше. И о танталовых муках творчества: поэт знает и вдохновение, и восторг, и умеет писать, но все эти особенности ему не подчинены. Вот как эту мысль выразил Батеньков: «Обыкновенно так бывает. Начинается восторгом, а поелику восторг непродолжителен и редко трижды возвращается, то разум и чувство, которые присутствовали восторгу, обращаются в художническую способность. Сия способность остается в страшной на всю жизнь борьбе. Ибо опять не зависит от воли человеческой ни художество слов, ни художество оборотов. Сия вторая воля уже не есть восторг. Она сама так требовательна и своекорыстна, что ничего не оставляет поэту. Это состояние древние и называли Танталом».

«Писаниям» Батенькова, по-видимому, так и суждено остаться писаниями. Опубликовать их нельзя (как нельзя было бы опубликовать записки Поприщина, если бы их написал Поприщин, а не Гоголь). Но, безусловно, они должны быть прокомментированы специалистами: филологами, философами, историками. Особенно философами, которые, возможно, уловят в некоторых суждениях Батенькова словно бы предчувствие теории современного экзистенциализма, как в свое время М. О. Гершензон, опубликовавший автобиографические наброски Батенькова, разглядел в них зачатки философской теории Л. Шестова²⁶.

Коснемся еще одной, сравнительно частной проблемы, которая, однако, представляет для нас некоторый интерес. Батеньков в своей теории был более последовательным «классицистом», чем в поэтической практике, хотя и в области теории эта последовательность не была абсолютной. Так или иначе, он вовсе не был чужд классицизму. Между тем Т. Г. Снытко утверждает, что хотя Батеньков «воспитывался на литературе XVIII в. и первых годов XIX в., но был непримиримым врагом классицизма. Среди поэтов XVIII в. он признавал только Державина, которому подражал во многих своих стихах»²⁷. А на другой странице того же исследования читаем, что Ломоносова Батеньков считал «шпилом»,

²⁶ Русские пропилеи, т. 2. М., 1916.

²⁷ «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, с. 310, 312.

вершиной в истории русской литературы. Значит, он признавал не только Державина?

В «Писаниях» сказано: «Я много у наших Державина, Богдановича, Ломоносова находил; они знали дар». И будем справедливы: Батеньков продолжает, скорее, линию Ломоносова, чем Державина, хотя последнему он, может быть, «подражает» больше. Как это объяснить? Батеньков — поэт-ученый, вооруженный «наугольником медным» и «трубою», близок к Ломоносову именно как к поэту-ученому. Для обоих звезды небесные — не просто поэтический образ, не просто сильное слово, поэтическая условность, а «вселенная». Поэт в данном случае сливается с астрономом, философом. Космическая образность подсказана не любовью к эффектным картинам, а реальным взглядом исследователя, привыкшего видеть звезды сквозь стекла телескопа, а не сквозь слезы восторга, а о вселенной рассуждать с основательностью математика и философа.

Державин менее всего был поэтом-ученым, но в некоторых не самых сильных своих произведениях, подражая Ломоносову, «парил», поднимался к небесам, к звездам... Это не его роль, но как подлинно великий поэт он даже и в чужой роли не оказывался несостоятельным и создал, например, такой шедевр, как оду «Бог».

В Державине Батеньков ценил как раз ломоносовскую традицию; Державин в данном случае был лишь посредником между Ломоносовым и Батеньковым. Почему поэт-декабрист не обратился к «первоисточнику», зачем нужен был посредник? На это ответить трудно. Может быть, Ломоносов казался слишком архаичным для того, чтобы поэт XIX в. мог видеть в нем живой пример, а Державин, хотя и сохранил в своих стихах все обаяние архаики, все же как бы модернизировал ломоносовское начало.

Сам Батеньков — мы уже говорили об этом — отстаивал принцип слияния «художества» с наукой. Вряд ли нужно доказывать, что этот принцип столь же близок поэтике Ломоносова, сколь далек от державинского поэтического мира.

Кроме Ломоносова и Державина из поэтов XVIII в. Батеньков высоко оценивал творчество Богдановича, что может показаться несколько странным. Не только в

наши дни, но и в середине прошлого века о Богдановиче бытовало представление лишь как об авторе знаменитой «Душеньки», от которой у нас идет линия так называемой легкой поэзии. Ранний Батеньков (до 1825 г.) пытался отдать ей посильную дань, но едва ли в 40-х годах он вспоминал о Богдановиче в этой связи. Скорее, он имел в виду те произведения Богдановича, которые выдержаны в ином по сравнению с «Душенькой» тоне и стиле, такие, как, например, «Блаженство народов». В отличие от изящных и милых безделушек, щедро даримых литературе «Душенькой», «Блаженство народов» — серьезное и тяжелое раздумье об истории, о роде человеческом, о ритмах времен — счастливых и несчастных. Об этом произведении мог с сочувствием вспомнить зрелый Батеньков.

Вообще XVIII век дал Батенькову больше, нежели XIX. Хотя декабрист высоко ценил Жуковского и Пушкина, признавал гений Гоголя, все же как поэт он обязан им сравнительно немногим. Предшествующему же столетию — основными навыками поэтического письма, прежде всего одописания (а ведь у Батенькова ода — любимый жанр).

В 30-е годы, годы расцвета так называемой «поэзии мысли», Батеньков был насильственно «исключен» из мира живых, из литературной жизни. Он не мог знать, о чем в это время думали и что писали Хомяков и Шевырев, не мог знать о приходе в литературу гениального поэта мысли — Лермонтова и, по-видимому, не догадывался, что само понятие «мысли» стало девизом, знаменем поэзии тех лет. Вероятно, все это было бы ему очень по душе, стимулировало бы его собственные поиски: ведь Батеньков по-своему тоже поэт мысли, и ему, современнику Баратынского, не пришлось бы столь часто оглядываться на Державина и Ломоносова. Но лишенный возможности общаться с поэтами-современниками, Батеньков поневоле обращался к далеким предшественникам, «сливал» науку с «художеством» по старомодному образцу.

Поэзия Батенькова была более «ученой», чем поэзия других декабристов. Но эта «ученость», конечно, не исключала гражданственности. Поэт-ученый был и поэт-гражданином — сочетание, опять-таки характерное для лучших литературных традиций XVIII в.

Поэты прошлого столетия располагали не таким уж скудным, но все же недостаточно богатым набором терминов, понятий и категорий, посредством которых они могли бы определять свое место и роль в литературе и самый тип своего творчества. Существовало традиционное деление на классиков и романтиков, осложненное, впрочем, не совсем ясными представлениями о классицизме и романтизме (ведь и по сей день эти понятия несколько туманны), шли споры о легкой поэзии, о поэзии мысли. Что касается классицизма и романтизма, то, несомненно, эти определения жили в сознании Батенькова как конструктивно-значимые факторы его поэтического самоощущения: дескать, в такой-то мере я классик, в такой-то — романтик; здесь возможны самые прямолинейные формулировки. Но этого недостаточно. Хочется более четких и тонких характеристик. Сейчас мы видим, что классицизм XVIII в., наследником которого был Батеньков, — явление далеко не однородное: классицизм с примесью барокко — у Ломоносова; классицизм, проникнутый духом филологического экспериментаторства, — у Тредиаковского; классицизм «чистой воды» — у Сумарокова и пр. Недаром же все они такие разные. Но таких литературоведческих понятий, как «барокко», «экспериментаторство», не было ни в XVIII, ни в прошлом веке. В лучшем случае поэты могли интуитивно чувствовать свою причастность или непричастность к тому, что наша современная наука определяет с помощью этих более или менее удачных терминов.

О поэтическом экспериментаторстве Батенькова, роднящем его с Тредиаковским, уже говорилось в предшествующих главах. Важно выявить: чувствовал ли себя Батеньков экспериментатором? Конечно, он даже мысленно не называл себя так. Но в его сознании присутствовало понятие, близкое к понятию эксперимента: поиск. И духом поиска поэт был одержим, не случайно и самый глагол *искать* — один из любимейших у Батенькова: «Надобно искать в словенском», «Резец Венеру в камне сыщет», «Ищу себя среди их роя», «Искать другого «да» в ответ», «Пути искал я к берегам», «Я истину искал»... и т. д. Атмосфера поиска (надо понимать: опыта, эксперимента) — наиболее естественная для Батенькова-поэта.

От поэтики барокко у Батенькова, вслед за Ломоносовым, — символично-эмблематический характер многих образов, яркий метафоризм и аллегоризм (вопреки теоретическому недоверию к тропам, о чем шла речь выше), эффекты разительной контрастности (светотеневой, «оглушительно-беззвучной»), усложненность и даже громоздкость некоторых композиций. Но на этом не будем останавливаться сколько-нибудь подробно, ибо нет никаких эквивалентов понятию барокко, которые входили бы в творческое или хотя бы в отвлеченно-теоретическое сознание Батенькова.

Отговорка «я не поэт», упоминавшаяся в начале этой главы, никого еще не увела от навязчивых вопросов и раздумий на тему: «какой же я все-таки поэт? зачем пишу стихи и что это за стихи?». Мы убедились в том, что Батенькова волновали проблемы литературных направлений и стилей, психологии поэтического творчества, стихотворной техники: для каждого пишущего это в конечном счете проблемы поэтического самосознания и самоопределения.

Стихами можно выражать важные и умные мысли, отгадывать загадки бытия, лечить тюремную тоску, уравнивать восторженно-экстатические порывы духа к неведомому и запредельному и т. п. Эти полезные свойства поэзии были знакомы Батенькову, но не в них он видел главную цель и смысл своего творчества, а в самом творчестве, понятом им очень решительно: не стихо-, а миротворчество. Чаше всего Батенькову хотелось создавать не стихи, а некий идеальный мир с помощью этих стихов. Но нужно быть эпико-монументалистом, чтобы справиться со столь грандиозной задачей, — ни в какие другие формы не втиснешь новый мир с его широчайшими горизонтами. Не случайно из всех великих поэтов Батеньков почитал Гомера больше всех. Сам же декабрист был скорее лириком, чем эпиком. Лирика в силах выразить то духовное напряжение и возбуждение, которое овладевает творцом, приступающим к созиданию нового мира, однако едва ли она способна запечатлеть самый образ этого мира, воспроизвести его содержание. Поэзия же, лишенная содержания, — всего лишь «письменность», не более. «В самом деле, как-то книга становится письменностью-то своею ощутительнее, нежели самое яркое ее содержа-

ние, — сетовал Батеньков, — чтоб писать с успехом, надобно точно дать почувствовать, что письменность тут только средство. А для этого Моисей теперь потребен, чтоб громами Синая разбудил спящую натуру и прошел по ее пустыням огненным столпом прежде, чем кастальские воды заструятся»²⁸.

Ни Моисеем, ни Гомером Батеньков себя не считал. Утолить свою жажду творчества не мог (лирикой не утолишь, а мощного эпического дара не хватает) — это момент, наверное, самый печальный в его личных счетах с поэзией. Он охотно «заразил» бы своей страстью к творчеству одаренную личность, воспитал бы в ней подлинного творца («научу тебя творить»). Он и Гоголю хотел бы подсказать, какую должна быть третья часть «Мертвых душ», — не вторая, а именно третья, от которой «ожидаем силы, идеи, реакции»²⁹: ведь и сам Гоголь надеялся, что в третьем томе поэмы ему удастся создать образ обновленного, эдемоподобного мира...

И Батеньков чувствовал себя стоящим у порога нового мира, но перешагнуть этот порог ему было не дано.

²⁸ «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, с. 317.

²⁹ Там же, с. 318.

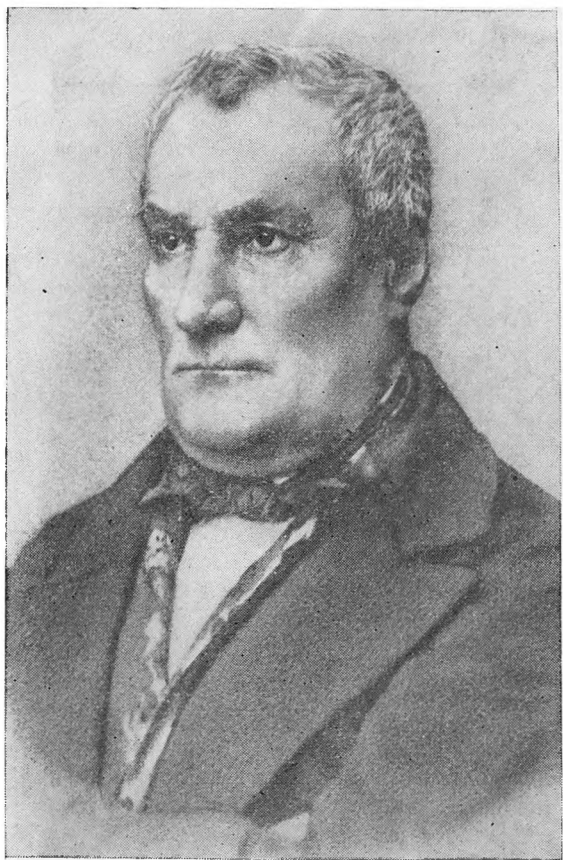


Часть вторая



Тексты и комментарии





*Г. С. Батеньков. Фотография Е. И. Якушина.
1850-е годы*



Из стихотворений Г. С. Батенькова только одно — «Одичалый» — было опубликовано при жизни автора, причем даже трижды: в Москве, в Лондоне и Лейпциге. Некоторые стихотворения, главным образом небольшие отрывки, появлялись время от времени в печати уже после его смерти, начиная с 80-х годов XIX в. и до наших дней. Не говоря уж о том, что стихотворные произведения поэта-декабриста ни разу не были собраны и изданы отдельно, большинство из них (пожалуй, подавляющее) вообще никогда и нигде не печаталось, да и не предназначалось для печати. К счастью, весьма обширное рукописное наследие Батенькова дошло до нас в таком объеме, что извлеченные из него стихотворные тексты дают сравнительно полное представление о поэзии этого видного декабриста. Настоящее издание мы приравняли бы к полному собранию стихотворений Батенькова, если бы не учитывали возможность и, как нам представляется, большую вероятность того, что в будущем обнаружатся новые тексты, ныне относящиеся к числу утраченных.

Текстолог, изучающий и публикующий батеньковские стихотворения, особенно тюремного периода, сталкивается с существенными, подчас непреодолимыми трудностями. Дело, прежде всего, в том, что Батеньков не столько «писал» стихи (в том смысле, в каком поэты обычно пишут стихи), сколько «вспоминал» давно им сочиненные, но в свое время не записанные произведения. Вспоминая, кое-что присочинял, забытые строки или даже строфы мог придумывать заново, да еще не в одном, а в двух или нескольких вариантах. Биографически и психологически все это легко объяснимо. Во-первых, в тюрьме он долгие годы был лишен возможности писать — именно тогда, когда его потребность в поэтическом творчестве ощущалась и переживалась им с наибольшей силой. Во-вторых, Батеньков вообще не склонен был считать себя поэтом, не придавал сколько-нибудь серьезного значения тому, что сейчас можно было бы назвать «творческой историей» произведения, поэтому часто не датировал своих стихов. Читая его рукопи-

си, допустим, 50-х годов, приходится гадать: может быть, это сочинено в тюрьме? (но в таком случае когда: в 1828 или в 1845 г.?)... Или же написано уже на свободе? Или же это контаминация текстов, относящихся к разным годам и десятилетиям? Отсюда — неизбежная неточность и приблизительность некоторых из предлагаемых нами датировок.

Не всегда ясно, в каком порядке должны следовать части одного, пусть даже не очень крупного, стихотворения. «Тюремную песнь» и оду «К математике», например, Батеньков восстанавливал по несколько раз, и все по-разному: в одном авторском списке не хватает каких-то строф, в другом — и только в нем — появляются недостающие строфы, но зато опущены другие, и ни разу порядок расположения строф, принятый в одном списке, не повторяется в другом. Поэт отнюдь не стремился к однозначным композиционным решениям, осложняя тем самым встающую перед ними задачу реконструкции правильного текста.

Мы сочли целесообразным указать представляющие известный интерес варианты текстов, имеющиеся разночтения и т. п. В первую очередь это относится к «Оди-чалоуму»: хотя поэма много раз перепечатывалась в разных поэтических сборниках и привлекала внимание исследователей, варианты ее текста, имеющиеся в списках поэмы, до сих пор не были опубликованы. В примечаниях содержатся по возможности полные сведения, касающиеся местонахождения публикуемых рукописей, а также библиографические справки относительно первых публикаций немногочисленных стихотворений и отрывков.

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

- ГПБ — Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- ЛБ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
- ЛН — «Литературное наследство», т. 60, кн. 1. М., 1956.
- ВМУ — «Вестн. Моск. ун-та. Сер. филология», 1966, № 3.
- БПТП — Батеньков Г. С., Пущин И. И., Толль Э.-Г. Письма. М., 1936.
- ПД — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома).
- РБ — «Русская беседа», 1859, т. 3, № 15.
- РП — Русские пропилеи, т. 2. М., 1916.
- РПЛ — Русская потаенная литература XIX века. Лондон, 1861.
- РС — «Русская старина», 1889, т. 63.
- ССД — Собрание стихотворений декабристов. Лейпциг, 1862.
- ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

В стране Борся вечно льдистой,
Где нет движенья веществу,
Где магнетизм владеет чистый, —
Все смерти дань, как божеству;

Где солнце полгода сияет;
Но косо падая на льдах,
Луч яркий в радужных цветах
Скользит — и тотчас замерзает, —

Из водок, спиртов, вин и пунша разных токов,
Меркурьев дульцисов и хины горьких соков
Там льдину сделаю и урну из нея
И сею надписью твой прах украшу я:

«Так точно хладен днесь веществ сих друг,
любитель —

Господь его спаситель»,
Потом с сердечною тоской
Я буду жить в пустыне той;

Огонь дружбы греть меня там станет,
И друг твой плакать не престанет,
Доколь горячею слезой
Не смое урны над тобой.

1815

Это первый из дошедших до нас стихотворных опытов Батенькова, из письма к А. А. Елагину, 4 июня 1815 г. Киев. Оpubл. в БПТП, с. 58—59. Представляет собой нечто вроде шутилой эпитафии живому А. А. Елагину, над «могилой» которого якобы воздвигнута урна — ледяная, изваянная из замороженных алкогольных напитков. Огню дружбы и горячим слезам сочувствия дано растопить эту урну (и тем самым «воскресить» покойного).

Из письма к А. А. Елагину

...Бываю иногда и стихотворцем. Недавно семидесятилетний старик взбесил меня своим слишком механическим поцелуем прекрасной ручки... Я вспомнил, что

был некогда походным поэтом и тотчас изложил свои мысли:

В какой бы ни было беседе,
И пусть хоть на гулянье где,
В саду, на бале, на обеде
И, словом, завсегда везде,

Когда увижу, что Анете
Случится встретить старика,
И, как уж водится на свете,
Потерпит поцелуй рука

От губ нечувственных, холодных,
Которы пережили жар, —
Всегда я в выраженьях томных
Скажу: пропал небесный дар!

1817

Опубл. в БПТП, с. 78. Экспромт, оцененный слушателями, по свидетельству автора, сочувственно: «Уверяют, что для экспромта вполне достаточно».

*Шуточные двустушия из посланий
к Елагиным*

Хоть жив ты, хоть нет,
Я твой поэт.

.....

И от меня в свет два стиха...

Ха! Ха! Ха! Ха!

.....

Я и то люблю писать,
Чего не примут и в печать.

1823

Опубл. в БПТП, с. 30, 134. Первые два двустушия входят в составленную Батеньковым шутки ради книжонку его «сочинений» (1823), в которой нет никаких сочинений, кроме этих стихов. «Я и то люблю писать» — из письма к Елагиным от 7 июня 1823 г.

Я прежде говорил «Прости!»
В надежде радостных свиданий,
Мечты вились на пути,
А с ними ряд воздушных зданий.
Там друг приветливый манил,
Туда звала семья родная,
Из полной чаши радость пил,
Надежды светлые питая.
Теперь — прости всему навек!
10 Зачем живу без наслаждений?
Ужель еще я человек?
Нет!.. да! — для чувства лишь мучений!
Во мне ли оттиск божества?
Я ль создан мира господином?
Создатель — благ. Ужель их два?
Могу ль его назваться сыном?

Шмели покоятся в дупле,
Червяк в пыли по воле гнется —
И им не тесно на змле:
20 Им солнце светит, воздух льется,
Им — все! А мне
Едва во сне
Живая кажется природа...
Ищу в бесчувственной стене
Огзыв подобного мне рода.

Вон там туман густой вдали
И буря тучами играет;
Вода одна, и нет земли,
Жизнь томно факел погашает.
30 Вон там на воздухе висит,
Как страшный остов, камень голый,
И — дик и пуст — шумит, трещит
Вокруг трущобы лес сосновый.
Там серый свет,
Пространства нет,

- И время медленно ступает...
Борьбы стихий везде там след...
Природа в сиротстве рыдает...
И там уму
- 40 В тюрьме тюрьму
Еще придумалось устроить...
Легко ему
Во мраке — тьму,
В теснине — тесноту удвоить!
Там пушек ряд,
Там их снаряд;
При каждом входе часовые.
Кругом крутят,
Кругом шумят
- 50 Морские волны лишь седые.
Куда пойти?
Кому прийти
Сюда без ведома смотрящих?
И как найти
К родным пути,
Где даже нет и приходящих?
- Все это там, друзья, для вас —
И редко вам на мысль приходит...
Все это здесь, друзья, для нас:
- 60 Здесь взор потухший лишь находит
Пространство в нескольких шагах,
С железом ржавым на дверях,
Соломы сгнившей пук обшитый
И на увлажненных дверях
Следы страданий позабытых.
- Живой в гробу,
Клянусь судьбу
И день несчастного рожденья!
Страстей борьбу
- 70 И жизнь рабу
Зачем вдохнула из презренья?

Скажите: светит ли луна?
И есть ли птички хоть на воле?

Им дышат ли зефиры в поле?
По-старому ль цветет весна?
Ужель и люди веселятся?
Ужель не их — их не страшит?
Друг другу смеет поверяться,
И думает, и говорит?
80 Не верю. Все переменялось:
Земля вращается, стена,
И солнце красное сокрылось...
Но, может быть, лишь для меня?

4

Вон там весной
Земли пустой
Кусок вода струей отмыла.
Там глушь: полынь и мох густой —
И будет там моя могила!
Ничьей слезой
90 Прах бедный мой
В гробу гнилом не оросится,
И на покой
Чужой рукой
Ресниц чета соединится.

Не урна скажет, где лежит
Души бессмертной брэнна рама;
Не пышный памятник стоит,
Не холм цветистый — влажна яма.
Кто любит, не придет туда;
100 Родной и друг искать не будет
Ко мне заросшего следа;
Его могильщик позабудет.
Здесь имя — в гробовую тьму...
Добра о нем уже не скажут —
И с удовольствием к нему
Враги одно лишь зло привяжут.
Погибли чувства и дела,
Все доброе мое забыто,
И не осмелится хвала
110 Мне приписать его открыто.

Довольно раз
К цепям у нас

Себе позволить отвращенье,
Сказать... поднять чело на час —
И расклокочется гоненье...

- Кукушка стонет, змей шипит,
Сова качается на ели,
И кожей нетопырь шумит —
Вот песнь кругом сырой постели.
120 Песок несется, ил трясется,
Выходит пар из мокроты,
И ржавый мох в болоте ткется —
Вот мне приветные цветы!
Придет холодный финн порой —
И в сердце страх один имея,
Смутится самой тишиной
И скажет: «Здесь приют злодея —
Уйдем скорей, уж скоро ночь.
Он чудится и в гробе смутой...»
130 С колом в руках, в боязни лютой,
Крестясь, пойдет оттоле прочь.

- О люди, знаете ль вы сами,
Кто вас любил, кто презирал
И для чего под небесами
Один стоял, другой упал?
Пора придет:
Не лживый свет
Блеснет — все будет обличенье...
Нет! не напрасно дан завет,
140 Дано святое наставленье,
Что бог — любовь, и вам любить —
Единый к благу путь указан...
И тот, кто вас учил так жить,
Сам был гоним, сам был наказан...
Но чем то сердце будет здесь,
Которое любить умело
И с юных лет уже презрело
Своекорыстие и спесь?
Что будет око прозорливо,
150 Которое земли покров
Так обымало горделиво
И беги мерило миров?
Что будет череп головной,

- Разнообразных дум обитель?..
 Земля смешается с землей,
 Истлит все время-истребитель!
 Но скоро ли? Как для меня
 Желателен конец дыханья!
 Тлен благотворного огня
 160 Сулит покой, конец страданья!
 Но, други, в этот самый час,
 Как кончу я мой путь печальный,
 Быть может, трепет погребальный
 Раздастся в сердце и у вас —
 Иль меж душами нет сношений
 И чувство чувства не поймет?
 Ненужный вам для наслаждений
 Равно — живет иль не живет?
 Ужель, себя
 170 Одних любя,
 Во мне лишь средство веселиться
 Искали вы, и не скорбя,
 Могли навек со мной проститься?
 И крови глас
 Ужели вас
 Ко мне порой не призывает?
 И дружбы жар в «прости» погас —
 И стону хохот отвечает?
 Пусть так. Забытый и гонимый,
 180 Я сохраню в груди своей
 Любви запас неистощимый
 Для жизни новой, после сей!
 Вкушайте, сильные, покой,
 Готовьте новые мученья:
 Вы не удушите тюрьмой
 Надежды сладкой воскресенья!
 Бессмертие! В тебе одном
 Одна несчастному отрада:
 Покой — в забвеньи гробовом,
 190 Во уповании — награда.
 Здесь все, как сон, пройдет. Пождем —
 Призывный голос навекает.
 Мы терпим, бремя мук несем,
 Жизнь тихо теплится... и тает...
 1827

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ
(ПО СПИСКАМ ПОЭМЫ)

- К ст. 14—15: а) Ведь на земле я господином?
Могущий благ! Ужель их два?
б) Творец всеблаг. Ужель их два?
- К ст. 29—33: Маяк пустынный угасает.
Смотри! Там камень голый
Как бы на воздухе висит;
Вокруг трущобы лес еловый,
И дик, и пуст, шумит, трещит.
- К ст. 50—53: Валы главы свои седые.
Куда пойти?
Кому прийти
Без ведома за мной смотрящих?
- К ст. 57—58: а) Все это там, друзья! Для вас
Все это лишь на сон походит.
б) Все это там, друзья, для вас —
И редко, редко в ум приходит...
- К ст. 60—66: И взор потухший не находит,
Кроме железа на дверях,
Следов страданья на стенах,
Соломы, свернутой в мешках,
Пространства в нескольких шагах...
- К ст. 71—79: Она вдохнула из презренья.
Скажите: светит ли луна
И дышат ли зефиры в поле?
По-старому ль цветет весна
И есть ли птички хоть на воле?
Еще ль веселость в людях тлеет?
Ужель не их — их не страшит?
Друг другу поверяться смеет,
И думает, и говорит?
- К ст. 92—94: И иновеческой рукой
Финн не придет перекреститься.
- К ст. 97: Не пышный золотом гранит...
- К ст. 103—107: а) И имя погрузится в тьму!..
Оно уже отделено
От дел полезных, и к нему
Враги привяжут зло одно.
Погибли все мои дела..
б) И имя погрузится в тьму.
Оно теперь уж отделилось
От дел полезных, и к нему
Одно проклятие привилось...

- К ст. 118: Крылами нетопырь шумит.
- К ст. 128—129: И в гробе чудится он смутой!
Я удалюсь: уж скоро ночь.
- К ст. 138: Всем и всему на обличенье.
- К ст. 143—144: И тот, кто вас учил так жить,
Гоним был и наказан.
- К ст. 147—148: И с юности злобу, спесь,
Своекорыстие презрело?
- К ст. 153—156: Что будет череп мой,
Глубоких дум обитель?
Земля! — смешает все с землей,
Погубит время-истребитель.
- К ст. 161—165: Но други, как дойдет до вас,
Что кончил я мой путь печальный,
Быть может в сердце тот же раз
Раздастся трепет погребальный.
Между душами нет сношений...
- К ст. 177: И дружбы жар с «прости» погас...
- К ст. 183—184: Готовьте новые мученья,
Ругайтесь в злобе надо мной.
- К ст. 194: Жизнь тихо теплится... но тает.

Впервые — РБ, с. 6, с цензурными пропусками; РПЛ — отрывки в искаженном виде; печ. по ССД, с. 53, где поэме предпослан эпиграф (слова Жака Араго: «*Pur lui il n'y a qu'une saison, celle de la souffrance!*» — Для него осталось лишь одно время года: страдание). Появление этого эпиграфа никак, по-видимому, не зависело от авторской воли Батенькова. Указанные разночтения по спискам поэмы — ПД, ф. 265, оп. 2, № 2468; ф. 604, оп. № 6; ф. 57, оп. 3, № 6 (см. также ВМУ, с. 39—40). Поэма создана в финляндской крепости Свартгольм в мае 1827 г. *Ищу в бесчувственной стене / Отзыв подобного мне рода* — имеется в виду перестукивание заключенных в смежных камерах. *Бог — любовь*, видимо, отголосок масонского учения (Батеньков состоял в петербургской и томской масонских ложах).

Тюремная песнь

1

Восторгом чудным окриленный,
Вознесся я до высоты,
Где закатается луч тленный
И всходит солнце красоты.

Богиня светлая предстала,
Я мать певцов,— она сказала,—
И вняв усердный глас мольбы,
Тобою в небо возносимый,
Даю удел, тобой просимый,
И жезл переломлю судьбы.

2

Будь жив дарами вдохновенья,
Из них текут людей умы.
Небесного благословленья
Принять не могут дети тьмы.
Да будет путь твой — просвещение,
Да будет ближнему служенье.
Воззри на свет моих миров!—
Молился я и удивлялся,
Как весь состав мой изменялся,
И темный пал с очей покров.

3

Мужей ряд вижу именитых,
Сих редких на земле гостей,
С богами в действии открытых
И видимых вселенной всей.
Где каждый муж стопой коснется,
Там новый ход вещей начнется,
Судеб продвигнется звено.
Муж каждый — мир уединенный,
А сонм мужей соединенный
Одно,— великое одно.

4

Жена явилася с кинжалом,
Собор страстей — ея народ.
Крилом орла и львицы жаром
От прочих отличен их род.
Здесь одеваемы женою.
Как в чаше, каждая собою
Подносит полный океан,
Он, бурь седалище, — ужасен,
Он без берегов стоит — прекрасен,
Для быстрых бегов людям дан.

Заря прелестная светлела
По обновленным небесам,
Желтела, красилась, алела,—
И вдруг восходит солнце там.
Повсюду песни раздались,
Повсюду струны потряслися,
В гранит и медь душа вошла,
В веночки красоты свивались,
Уханья хором раздавались,
Холст, доски слались в зеркала.

6

Теперь довольно,— мне сказала
Богиня светлая моя,—
Я путь отважный указала.
Дотронулся до лиры я.
Как персты ловко побежали!
Как струны стройно задрожали!
А в небе мой раздался глас...

.
.
.

7

Отец небесный да святится
От всех небесных чад его!
И на земли да водворится
Сиянье царства Твоего.
О, да познаем Твою волю!
Насущного дай хлеба долю
И не взыщи твоих долгов.
Мы все и всем теперь прощаем,
Дай да в напасти не впадаем,
Ты царь единый всех миров.

8

Светися, красная, светися
В холмах седых, Россия-мать!
До пальм Сиона вознесися.
Его с тобою благодать.

В тебе да будет испорочность,
В тебе да будет силы прочность,
Богатство, слава притекут,
Урал под золотом прогнется,
В алмазах Волга разольется,
Зев Дона жемчуга запрут.

9

В твоих морях пучин не будет,
Растают льды среди зимы;
Огонь в умах твоих разбудит
Во тьме уснувшие умы.
Как ясный, чистый свет зарницы,
Твои блеснут отроковицы,
И старец бедный с сединой,
Как божество, от всех почитится,
Народом внуков окружится,
Богов обрадует собой.

10

Твои певцы тебе укажут
Судеб господних глубину,
Их силы вышние помажут.
Как Иоаннову жену,
Тебя слуг божьих сонмы сильных
На крыльях вознесут орлиных,
Дракону растерзают грудь.
Будь новой Скинией свиденья,
Будь местом духа проявления
И Богородицею будь.

11

Твои цари, как небо, станут
Все обымать и возвышать,
Умам денницею проглянут
И будут тьму повсюду гнать.
И словно важные планеты,
Сияньем из себя одеты,
Вельможи видные ступать
По предначертанным орбитам
Народной волею. Открыто
В горниле солнце содержать.

12

Любезный юноша, с тобою
 Хочу, как друг, поговорить:
 Я тайны важные открою
 И научу тебя творить.
 Восторг един нас окриляет,
 Его из Пинда возбуждает,
 А тяготеет к духу дух.
 Призыв почуяв, не смущайся,
 Причине жизни покоряйся,
 И к ней откроется твой слух.

13

Когда земное оставляя,
 Душа бессмертная парит,
 По воле всем располагая,
 Мир новый для себя творит,
 Мир светлый, стройный и священный,
 Когда один я во вселенной,
 Один — и просто божий сын,
 Как пульс огнем, не кровью бьется,
 Тогда-то песнь рекою льется,
 И языка я властелин.

14

Вот камень, твердый и холодный,
 И признака в нем жизни нет.
 Вот грубиян язык народный,
 Иным посмешища предмет.
 Резец Венеру в камне сыщет,
 Певец, как соловей, засвищет,
 Холодный, грубый — где они?
 Зри! Огненный язык слетает,
 Его всяк в меру понимает,
 Им боги говорят одни.

15

Когда высоким вдохновеньем
 Душа глубокая полна,
 С ежеминутным удаленьем
 От берегов растет она.

Как хрящ под прочерком скругленья,
Исчезнут слабые творенья,
Как Тенериф, свой пик взнесут
Певцы великого размера,
И можно там спросить Гомера,
Где лавры для венцов растут.

16

Когда, лишась мер и созвучий,
Песнь жар не потеряет свой,
И все еще листок пахучий
Гордиться может красотой,
Так скажет ум обыкновенный —
Ум, для великого рожденный,
Такую должен класть печать,
Что в тоне, красках песнопенья
Без святотатства и смятенья
Нельзя и черточки отнять.

17

Когда без всякого покрова
Певец увидит красоту
И звуками родного слова
Оденет легкую мечту,
Он все отечество возносит.
Напрасно иноземец просит
Священной манны сей вкусить;
Чужим она не достается.
Одно Тапталу остается —
В един язык с певцом вступить.

18

Когда восторженный душою
Державин звезды с выши зрел,
Как в мразный, ясный день зимою
Пылинки инея, удел
Ему тот дан для миллионов,
Чтобы возвысить дух Солонов,
Мелькнувших в Севере тогда,
Чтоб ухо остеречь от гула;
И как Давид лечил Саула,
Струной надпомнит иногда.

Когда сознание просветлится
 И жажда слышится умов,
 Телесный по следам тащится,
 Открыт путь новый для духов.
 Легко миры они вращают,
 Когда тот пункт опорный знают,
 О коем плакал Архимед.
 Пройдут и пробудят народы,
 Игрой покроют неба своды,
 Прольют рекой млеко и мед.

20

Когда же лиры струн коснутся,
 Проникнут молнией сердца,
 И в миг красою обовьются
 Змееобразного кольца.
 Духам несвойственна измена,
 Тверда опора их безмена,
 И, взяв размер для рукавов,
 Уравновесят силой бремя,
 Ее восполнят тратой время
 По общим свойствам рычагов.

21

А что тогда, как устремится
 К истоку всякой красоты,
 В его величестве вместится
 И отразит его черты?
 Становый горб столкнет надменный;
 Торопца лоб взнесет смиренный,
 Лишит Сибирь потопных вод,
 Порвет Хвалынские преграды,
 Все Черное сожмет в ограды,
 Пересоздаст Яфетов род.

22

С такою силой Моисея
 Земле надлежит ожидать,
 Чтоб, знанием богов владея,
 Могла амброзии вкушать.

Чтоб сердце чувствами забилося
И слово жизни не забылося,
Несокрушимыми в веках,
Святите день сей нареченный,
И свет в скрижалях сокрушенный
Вдруг отразится в двух столбах.

23

Не жди из гроба воскресенья,
В грязи валяясь вещества,
Алкая в ней увеселенья
И отчужденный божества.
Болезнь и смерть всегда с тобою,
Лишь их ты щупаешь рукою,
Не успокоится твой ум.
Что день, в лишениях тужа,
Осиротевшая душа
Отчается во мраке дум,
И песнь поэта без восторга
Мертва в церквах, мертва средь торга.

24

Воззри в окно твоих чертогов
На вид прелестный пред тобой
Полей, лугов, гор, звездных сводов —
И в небо воспари душой.
Эдем откроется прекрасный,
Добра и зла урок опасный
Мгновенно Лета унесет,
Осуществятся все надежды,
Ты сбросишь тленные одежды,
И нагота твоя блеснет.

25

Взойди на высоту утёса
Обычной твердою стопой
И, обозрев весь круг откоса,
На небо воспари душой.
Ты в великана обратишься,
Величием духа насладишься,
Забудешь и добро и зло,

Лучи красот многоразличных
В сиянии венцов приличных
Сведешь на бледное чело.

26

Предайся в океан сей смежный
Игривый — свежею волной,
Весь помести в себе безбрежный
И в небо воспари душой.
Как тлен, спадут с тебя оковы,
Орел и лев родишься новый,
Уснувший воспрянешь творец,
Пересоздашь все пред собою
И величавую стопою
Пойдешь с невестой под венец.

27

Простри на круглую денницу
Глаз приобыкший к свету твой,
И, разрешив лучей цевницу,
На небо воспари душой.
Увидишь в радугах прелестных
Существ явление небесных
И вечную игру кольцом.
Когда же силу чувств узнаешь,
И сам, как солнце, воссияешь,
Луну покроешь серебром.

28

Взгляни на холст одушевленный
И воспари на высоты,
Увидишь мир изображенный,
И бесконечный и святой.

.
.

И обликов ряды пройдут
В воображении готовом,
Что миг, то мир сей в виде новом
На те же краски наведут.

Взгляни на камень сей почтенный
 И воспарь на высоты,
 Увидишь идеал внушенный,
 И бесконечный и святой.

.

Воображение обставить
 Его услугами — направить
 И камень в ангельский полет.

Воззри на храм сей возвышенный
 И воспарь на высоты,
 Врата увидишь отворенны
 В мир бесконечный и святой.
 Он с праха павшего подымлет,
 Всего величеством объемлет
 И зиждет в мыслях стройный ход,
 Мертвит ничтожные предметы,
 Живит неложные обеты
 И в вечность твой готовит вход.

О Феодосия! Священным
 Ты вечно храмом будешь мне.
 По высотам к тебе склоненным,
 Как Моисею в купине,
 Призывный огонь мне возгорелся,
 В полет им к небу я нагрелся,
 Узрев в кольце его концы,
 И моря и земли волненье;
 Мне указало вдохновенье
 Денницы гаснувшей венцы.

Послушай звуков нежных, стройных
 И воспарь на высоты,
 Прекрасен хор светил спокойных
 И бесконечный и святой.
 Ему восторженно внимая,

Познаешь наслажденья Рая,
От бранных разрешишься уз...

.
.
.

33

Дух переполненный блаженством
Чрез край его на тело льет;
Фавора свет ему наследством,
Бела, прозрачна риза вьет.
И полотну душевной силой
Предаст твой образ молчаливой.
Как быстро может восходить
От совершенства к совершенству!
Его границ нет многоженству,
Все может красоты любить.

34

Живый и всемогущий Бог,
Космогоническая сила,
Полнейший бытия итог,
Умом нас, словом одарила.
И неоткуда инде взяться,
Что может в мысли оказаться;
К нему и все пути ведут.
Чрез отрицанье утвержденьем,
Твердыней веры и сомненьем
Причины все не обойдут.

35

Дух самобытный и повсюдный,
Все содержащий существо,
Разумеваемый и чудный,
Жизнь одевает в вещество.
Сей мир руки его творенье,
Его же жизни отраженье,
Дабы познать себя, нам дан.
В вещах сей жизни зря уделы,
Оставим тесные пределы,
Сольем в один все океан.

Вот путь единственный к воззрению
 Нам на доброты Бога сил.
 Мне чувства служат к оперенью
 И направлению монах крил.
 Как перечень животных строя,
 Ищу себя среди их роя,
 Во мне является их склад,
 И лепоте и безобразью
 В страстях монах ключи согласью,
 Мое же тело тля и яд.

Уязвленный грехом, страдаю,
 Мучитель, мученик, но царь.
 Служить бессмертию уповаю,
 Хаоса сплавливая гарь.
 Делами бездну наполняю,
 Добро и зло соединяю,
 Чтоб оправдать мою борьбу
 С судьбою праведной, неложной,
 В своих законах непреложной,
 И не останусь во гробу.

Еще я мощен, и творящих
 Храню в себе зачатки сил,
 Свободных, умных, яспозрящих
 Не подавил во мне кумир.
 Не раз и смерть своей косою
 Мелькала мне над головою,—
 Я не боюсь ее. Сразит
 Свое, чему нельзя быть вечно.
 Иду навстречу ей беспечно,
 А дух, забыв ее, парит.

Смотри! Там лаву по долине
 Седая Этна разлила.
 И много лет прошло доныне,
 Как лава в пламени была.

Там розу девушка срывает,
Там земледелец хлеб снимает,
Там ратник точит ржавый меч.
Как тихо здесь успокоенье!
Но в глубину пусть вникнет зренье:
Огонь все продолжает течь.

40

Смотри! Вон там под небом тихим
Течет красавица Нева,
И руслом всем своим великим,
И делится на рукава.
Сады и селы в ней струятся,
Дворцы и храмы в ней глядятся,
Спят усталые корабли.
Мосты венцом перевивают,
Пловцы веслом переливают:
Светла — и знака нет земли.

41

Смотри! Вон там орел летает,
Как смел, величествен и прост!
Крилом ли тучу рассекает,
Или дугой раскинув хвост,
Плывет по воздуху спокойно,
Дает глядеть себя свободно
И самым отдыхом дивит.
Но вдруг ударится, вскружится —
И прямо в солнце поместится, —
И гений чудно так творит.

42

Или: вот лев пламеннокровный,
Как молния, стремится в месть,
Хвостом и лапой гороломной
Готов всему удар нанести.
.
.
Встречает ли в пути змею —
В кольцо за ним свернется злая,
Дотронется до горносталя —
И гриву окропит свою.

Смотри! Как рваный плащ, собою
 Окутал землю океан,
 Он горы спрятал под собою,
 Богатства неисчетных стран.
 Пусть целый род людей сойдется,
 Пусть множество веков прольется,
 Всех не исчерпают даров.
 Киты все будут появляться,
 Пучины новые рождаются:
 И гения глагол таков.

Поэзия едина в мире
 И тот же точно самый дух,
 Что с Пиндаром гремел на лире,
 Пленяет в Керубини слух.
 Водил слепого великана,
 Шарел на стенах Ватикана,
 Апостолам дал в Риме кров.

.

И сей же самый дух для важных
 Являлся в мире перемен;
 Он избирал мужей отважных
 И ставил на межах времен.
 За ним царь плотником в Сардаме,
 Им у Бориса мех на раме,
 Аврелия возвысил он.
 Был с Генрихом порфирородным,
 Был с Вашингтоном благородным,
 Им утонул и фараон.

Сей дух является веками
 Не потому, чтоб от земли
 Был похищаем небесами,
 Во сне покоился или
 Сгорал, как Феникс, и рождался,

Раз к нам спустясь, у нас остался,
 Но мы томим его в цепях,
 Страстей нечищенным волненьем,
 Безумным время расточеньем,
 Насильем в слове и делах.

47

Исбесная, не разлучайся!
 Ты все возносишь и живишь —
 Не в меру падшему являйся,
 Его одна ты воскресишь,
 Когда своим помажешь духом.
 Цари ко мне склонятся слухом
 И пожелают, чтоб им пел.
 В едином царстве не вмещуся,
 Со всем потомством обумуся,—
 Вот сан поэта и удел.

1828

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ (ПО СПИСКАМ)

- | | |
|-----------------------|---|
| К строфе 1, ст. 3: | Где закатается мир тленный... |
| К строфе 8, ст. 2: | В холмах молодых, Россия-мать! |
| ст. 6: | В тебе да будет веры прочность |
| К строфе 12, ст. 3—4: | Быть может, тайное открою,
Скажу, как может дух творить. |
| К строфе 13, ст. 1: | Когда заботы оставляя... |
| К строфе 15, ст. 10: | Где пальмы для венцов растут. |
| К строфе 21, ст. 1—5: | Когда же воля устремится
К истоку всякой красоты,
Вся величестве вместится
И отразит его черты?
Кавказа рог сотрет надменный... |
| К строфе 31, ст. 4—5: | Как для еврея в купине,
Призывный глас мне возгорелся... |
| К строфе 36, ст. 7: | Во мне их свет, черты и склад... |
| К строфе 38, ст. 4: | Не подавит меня кумир. |

ЦГАОР, ф. 1153, № 166 (см. также сб. «Декабристы и русская культура». Л., 1976, с. 209—222), с примечанием автора: «Это была полная, законченная песнь. Не было средств записать ее. Составленная на память, навсегда забыта. Здесь представляются отрывки. Есть и другие песни, но изменяет во многом воспоминание. Здесь только ответ на вопрос, как можно человеку

жить в тесном заключении одному почти четверть века в цветущие лета жизни». Орывки из Песни — ЛБ, Бат. — 6—14; ЦГАОР, ф. 1143, № 48, 161, а также многочисленные цитаты из Песни в письмах Батенькова к разным адресатам. Фрагменты из нее публиковались в РП, ЛН, ВМУ. Поэма создана в Петропавловской крепости в 1828 г. Строфа 7 — переложение молитвы «Отче наш»; строфа 10: *Скиния свиденья* — прообраз походного храма, явленный Моисею на Синайской горе, согласно библейскому сказанию; строфа 15: *Тенерифский пик* — гора на одном из Канарских островов, на склонах которой растут лавры; строфа 18: *Солон* — афинский реформатор и законодатель, а также поэт; *Давид лечил Саула* — имеется в виду известный псалмопевец (в будущем царь) Давид, своим пением развевавший тоску и меланхолию иудейского царя Саула; строфа 21: *Яфетов род* — европейское человечество; строфа 31: *Как Моисею в купине* — имеется в виду неопалимая купина (библейский образ), представший перед Моисеем горящий, но не сгорающий куст; этот образ стал символом богородицы; строфа 44: *шарел* — красовался, цветился — от др.-рус. шар — «краска»; строфа 45: *царь* — Петр I; *Борис* — Годунов; *Генрих* — неизвестно, какой из многочисленных европейских Генрихов имеется в виду, но едва ли самый из них достойный — Генрих IV Бурбон (короля, не унаследовавшего, а завоевавшего престол, не называют «порфирородным, т. е. рожденным от королевской крови»); характерно упоминание в одном ряду с Петром, Годуновым, Аврелием, Генрихом именн Георга Вашингтона; *фараон* — имеется в виду египетский фараон, утонувший согласно библейскому сказанию в Черном (Красном) море во время погони за Моисеем и его народом.

Из «Тюремной песни»

1

Кто знаменитее Гомера?
Но всех даров небесных мера
В него, конечно, не вошла.
И можно полной их игрою
Сменить Олимп другой горою,
Когда бы нужда в том была.

2

Вот вышла девушка и с маской,
Стройна, мила и весела,
Судит и рядит полной лаской
И силою

3

О мать несчетных наслаждений,
Животворящая мечта!

4

Как Нарва в громы разражаясь
Катит игрою в семь огней...

5

Людей не будем мы страшиться,
И погрозят, да не сшибут.
Вот в Пизе башня наклоненьем
Чрез шесть веков грозит паденьем,
Однако звон вседневный тут.

6

Давно заметили поэты,
Что нам необходим Пегас;
Не могут шестерней кареты
Подняться шагом на Парнас.
Есть, правда, стежка и другая,
Но так избитая, крутая,
Что тысячу потребно лет,
Дабы дойти до Аполлона,
Сразить темнителя Тифона
И слиться в зеркало под свет.

7

Тогда позволить и крылатых
Под стать и масти подбирать
И на пирах своих богатых
Иных смотреть, себя казать;
Покажешь всю свою упряжку,
Где должно — звездочку, где — пряжку
Поставить ночью или днем,
К дуге привяжешь колокольчик,
При девяти сестрах молодчик,
Ударишь вдруг по всем по трем.

8

Восторг один нас окрыляет,
В гробах мы вечно без него,
Восторг к бессмертью направляет
И ключ дает ото всего.

Так пел я, сердцем восторженный,
И обнял чувства глубины.
Союз любви и сонм священный...

1828

Печ. впервые по ЛБ, Бат. — 6—14. По-видимому, эти отрывки должны были бы войти в ту часть «Тюремной песни», где речь идет об искусстве, о поэтическом творчестве, но Батенькову не удалось восстановить их в памяти полностью, что в значительной мере мешает уяснить смысл данных фрагментов.

* * *

1

Я прожил век в гробу темницы,
Меня томила ночи тень,
Но дух мой был вольнее птицы,
И ночь преображалась в день.
В молчании часов тюремных
Я много вынес бурь душевных,
Хотя с людьми не враждовал,
Не знал любви, не правил царством
И покорным государствам
Склониться не повелевал.

2

Темницы тишина святая
Сосредоточила мой дух.
К громам священного Синая
Покорный приучила слух.
Открыла, в чем великих сила,
И в огненном столпе учила
Источник красоты искать,
Языком моря Бога славить,
Завет средь Иордана ставить
И тьму на землю не пускать.

3

Открыла сущность преступленья
Первоначальные четы

И устремила наблюденье
На те святыя высоты,
Где слава и любовь...

.

20—40-е годы

РП, с. 101. Батеньков цитирует эти стихи (сочиненные в Петропавловской крепости) в своих письмах.

Узник

Не знаю, сколько долгих лет
Провел в гробу моей темницы...
Был гордый дух вольнее птицы,
Стремящей в небо свой полет.

Вчера, в четверг,
Мой ум померк,
Я к горлу гвоздь приставил ржавый,
Творец мольбы мои отверг —
Вершись же смело, пир кровавый!

Не довелось:
Земная ось
Качнулась с силою чрезмерной,
Все затряслось,
И выпал гвоздь
Из длани слабой и неверной.

Качаюсь в каменном мешке —
Дня в уютной колыбели...
Смеюсь в неистовом весельи
И плачу в горестной тоске.

Час предрассветный. На исходе
Угарной ночи кошмар.
Нет, не погас душевный жар
Во мне, несчастном сумасброде!

Стихами пухнет голова.
Я отыскал свой гвоздь любимый
И на стене неумолимой
Пишу заветные слова:

«И слез и радости свидетель,
Тяжелый камень на пути.
Мой гроб и колыбель, прости:
Я слышу скрип могильных петель».

Но нет же, нет!
К чему сей бред?
Еще мне жить, дожидаться воли!
Десятки лет
И сотни бед
Мне суждены в земной юдоли...

Небес лазурь
Душевных бурь
Тщета затмила в день весенний.
Чела высокого не хмурь,
Мой падший гений!..
Падший гений...

.

Светлеет небо над Невой,
Авроры луч зажегся алый,
А где-то в камере глухой
Томится узник одичалый.

20—40-е годы

Печ. впервые, за исключением 7-й строфы, опубликованной в ВМУ, с. 36, 37, вместе с отрывком из письма Батенькова к А. П. Елагиной, в котором цитируется данное четверостишие. Полный текст — ЦГАОР, ф. 1143, № 48, в рукописном сборнике батеньковских стихотворений, подаренном автором С. П. Трубецкому (тетрадь с вложенными в нее листами, на которых написаны стихотворения более позднего периода). «Узник» по своей тональности как бы примыкает к поэме «Одичалый» (общность мотивов, единая «техника» стиха и пр.).

Исход

1

Раскатов громовых свирепость
Земле крушением грозит,
Но П[етро]-Павловская крепость
Все так же над Невой стоит.
Ее не разрушают грозы,
Ее не прожигают слезы;

И песни, сложенные мной,
Суть те же узники немые,
Жильцы тюрьмы полуживые,
Стенящие во тьме ночной.

2

Из сердца исторженны звуки
Коснутся ли иных сердец?
Поймут ли ближние те муки,
От коих возрыдал певец?
Или при жизни погребенный,
В годах цветущих отрешенный
И от родных и от друзей,
Забыт он вами в тяжелой доле
И одинокий в сей юдоли
Он доживет остаток дней?

3

Быть по сему. Не жалость друга
Страдальца в горе усладит.
Одна лишь смерть, его подруга,
Конец мучениям сулит.
Как тлен, падут тогда оковы,
И сняв с главы венец терновый,
Ее приосенив крилом,
Покойно ангел смерти взглянет
В глаза усопшему и станет
Смыкать их бережно перстом.

4

О сладости сего мгновенья
Надлежит узнику мечтать;
Пить воду из реки забвенья,
В ея прохладе забывать
О жизни сей палящем зное;
Спешу не ведая покоя
К твоим, о Лета! берегам.
Как класу — солнце золотое,
Как птицам — утро голубое,—
Да снидет сон моим очам!

Так пел — и все переменялось,
 Возвысил дух святой восторг,
 И сонмы дивных звуков, мнилось,
 Он из груди моей исторг.
 Темницы нет, во прах твердыня!
 Одна любовь, одна святыня,
 Святыя славы тихий свет...
 И нет томленья, ни страданья,
 И нет ни казней, ни изгнанья,
 И узников печальных нет!..

20—40-е годы

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Строфа 3: *Как тлен, падут тогда оковы* — автореминисценция из 26-й строфы «Тюремной песни» («Как тлен, спадут с тебя оковы»); строфа 5: *И нет ни казней, ни изгнанья* — реминисценция из поэмы Рылеева «Войнаровский» (в предсмертном монологе жены Войнаровского есть слова: «Там нет ни казней, ни изгнанья»).

Таинства

1

Святым крещения уставом
 Всем путь из берегов открыт.
 В его потоке величаюм
 Един селится самобыт,
 Гремяй над многими водами,
 Но редко Нои голубями
 Ковчег разрешали плен,
 И только в проявление Солнцев
 Наставники своих питомцев
 Свергали с Ерихонских стен.

2

Для ищущих даров и силы
 В тени указана стезя:
 Обрушиться в жерло могилы —
 И по стенам ея скользя,
 Внимать лишь свист пустынной трости,

Чтоб риза кожаная кости
Оставила душе нагой.
Кто имя новое узнает,
Нося печати воскресает
Мироточивою главой.

3

Для обновления свободы,
Где связан слова хлеб в снопы,
Надлежит отрещись природы.
Петра отступника стопы
Не обнажив, омыть слезою.
Верженьем камня и мольбою
Пустить с чела кровавый пот.
Крестом — спасителя изведать
И пред Вселенной исповедать,
Как зиждет бог от зол оплот.

4

Чтоб в небе с красотой носиться,
С собою вознося дела,
И за завесой причаститься
Познанию добра и зла,
Надлежит всю хаоса чашу
Глотать и всех желаний сажу
Испить чрез оцт небытия.
Тогда пространства сотворенье
И слова первого явленье
Вещом твое украсит я.

5

Дабы для вечного Собора
Ключи священства получить,
Надлежит к высотам Табора
Ум из-под пепла устремить.
Услышать громы над дровами
И под ножами,
Взнесясь до звезд, лишиться крил.
Тогда даст щель скрижалей плита,
И луч ответный Параклита
Речет: достоин Самуил.

Чтоб чуду Каны совершиться,
 Чете надлежит с словом «да!»
 На праге храма разлучиться.
 Стереть умом громады льда,
 Что сердце обстоит невинных.
 Путем искусов гробовидных
 Искать другого «да» в ответ.
 Тогда под пальмным осененьем
 Востока девою рожденьем
 Проглянет слова жизни свет.

Дабы расслабленному в силах
 Сказать «восстани и ходи»,
 Надлежит в Силоамских жилах
 Квас возмущения внести.
 Семи елеев запыленьем
 Наполнить место разрушеньем
 И своды храма разобрать,
 Тогда оставят духи злые,
 И волю сжав в щиты стальные,
 Внесет в дом новый благодать.

Но чтобы двинуть Солнце к лету
 И взять над тяготеньем власть,
 Надлежит Ноеву завету
 С скалы обетованной пасть.
 В волнах с ночами дням смешаться,
 Дуге заветной не казаться —
 И запалить ковчег кругом,
 Когда под ним весь пламень пепла
 Прольет трепещущая Гекла,
 И небо все сольется в гром.

С такою силой Моисея
 Земле надлежит ожидать,
 Чтоб знанием богов владея,
 Могла амврозную вкушать.

Уныния громадно бремя,
Привычки, страсти губят время,
И убивает душу страх.
Святите день сей нареченный,
И свет в скрижалях сокрушенный
Вновь отразится в двух столбах.

20—40-е годы

Печ. впервые по ЛБ, Бат. — 6—14. Стихи навеяны размышлениями Батенькова над текстами Ветхого и Нового заветов — единственные книги, которые узник мог читать в Петропавловской крепости. Этим можно объяснить его склонность к стихотворной разработке библейских сюжетов. Хотя речь идет о хорошо известных легендарных событиях и лицах (Ноев ковчег, чудо в Галилейской Кане и др.), — стихи отличаются особой затемненностью смысла и неясностью стиля, что, скорее всего, является следствием обострения душевной болезни поэта. 9-я строфа «Тайнств» текстуально совпадает с 22-й строфой «Тюремной песни», за исключением 5—7 стихов. Возможно, Батеньков мысленно объединял эти два произведения как части одного обширного целого, монументальной поэмы-песни, либо не завершенной автором, либо забытой им впоследствии. Отдельные наброски к «Тайнствам», не содержащие существенных разночтений по сравнению с основным текстом, имеются в ЦГАОР, ф. 1143, № 48.

Песнь девятая

Душа моя величит Бога,
Кипит вся радости огнем.
Рабе смиренной радость многа
И верное спасенье в нем.

В странах далеких будет славна,
Светла в позднейших временах.
Его величеством державна...
О, да святится он в сердцах!

Своей рукою подымает
Державу, павшую во прах,
И без пощады расточает
Всех гордых мыслию в делах.

На тех, кто страх его приемлет,
Из рода в роды милость льет.

Смиранных в высоту подьемлет,
С престола гордого сведет.

Кого мучитель гложет голод,
Тому он море даст даров,
Кто золотом наполнил город,
Он отошлет без сапогов.

С Сиона отрок окрыленный
На лоно вечного парит.
Завет с отцами обновленный
Нас просветляет и живит.

20—40-е годы

Печ. впервые по ЛБ, Бат. — 6—14. Написана по мотивам 9-го псалма Давида.

К математике

1

...Но мать точного ученья,
Представь ты нам теперь свои
Великие произведенья!
В символы углубясь твои,
Как бы в глаголы прорицанья,
Кривые сводит начертанья
Художник с своего пера.
Тут вняв совет твой — отмечает
На месте камнем; продолжает —
И вот — храм Римского Петра.

2

Стекайтесь, дети просвещенья,
Стекайтесь любоваться им.
Какая стройность размеренья!
Красив величеством одним!
Се кровы вышнего селенья...
Стекайтесь, дети просвещенья,
Стекайтесь любоваться им!

Вот в наготу его искусство,
Вот новое создали чувство,
Которым Бога ощутим.

3

Красот в нем сущих основанье
В единой мысли состоит;
На ней вращается создание
Всего, что вечность не вместит.
Сей полной мысли выраженье:
Конца с началом сопряженье.
Чрез разложение в числе
Рождается сия безбрежность,
В которой тонет даль и смежность,
Был, есть и будет как в нуле.

4

...Чтоб царь земли прошел спокойно
По всем владениям своим,
Велишь громам, чтобы покорно
Челом ударили пред ним.
Края ты бездны съединяешь,
С громами тучи отгоняешь,
Корабль над кораблем ведешь.
Река рвет лед и берег зыбкий,—
Ты, приподняв поток сей гибкий,
Царя под ним пройти зовешь.

5

Тритон огромный и крылатый,
Сей милый сын, любимец твой,
Как в море блещут его латы!
Лазурь отводит белизной;
Цветные косы распускает,
И черны кудри развивает,
Играет бурями и льдом;
Кольцом на шаре вьет дорогу,
Кидает Рака к Козерогу,
Страшнее туч бросает гром.

6

...Но червячок я неприметный
 В толиком множестве миров,
 Беру мой наугольник медный
 И таинств им секу покров.

.

7

Вот солнце. Вкруг него вертится
 Миров несметное число,
 И каждый вдаль уплыть стремится,
 Но сколько тысяч лет прошло,
 Как царь сей царством управляет,
 В нем каждый мир путь точный знает,
 Пути не пресечет другим,—
 В горниле солнце остается,
 Всем свет, всем жизнь из солнца льется,
 И тем необходимо им.

8

Или вдруг смелою рукою
 В хаос я расплетаю ткань;
 Над неустроенной землею
 Держу я творческую длань.

.

9

На опрокинутой к нам чаше
 Везде сияют точки звезд.
 И в них и в солнце светлость та же;
 Неуловим порядок мест.

Не расстоянье ли виною
Их беспорядка и покою
И где лежит средь них Земля?
— Да это Солнцы отдаленны,
Мирам иным определенны,
И с братом их одна семья.

10

Как лента светлая, собою
Мир опоясал Млечный Путь.
Напрасно глазом и трубою
Туда желаю проглянуть.
Но ум еще не оставляет,
В составы ткани проникает,
И виден новый сонм денниц...
Два сонма есть — нет сонмам счёта,
Им нужен круг для оборота —
И мир остался без границ.

11

Здесь виден возраст наш духовный,
Как, отрясая вещество,
Вставал из праха дух свободный
И обнял мысли существо.
Локтей и стоп оставя меры,
Взял в руки ось земных сферы,
Потом ось годовых путей.
И сей титан свой рост теряет...
Так напоследок ум взлетает,
Пределов не нося цепей.

20—40-е годы

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ (ПО СПИСКАМ)

- К строфе 6, ст. 4: И таинств им свожу покров.
К строфе 7, ст. 3: И каждый пасть в него стремится...
ст. 6—9: Им каждый мир путь точный знает,
Пути не преступить другим, —
В горниле солнце остается,
Всем свет, всем жизнь из него льется...

К строфе 10, ст. 2—4: Свод опоясал Млечный Путь.
Напрасно с длинною трубою
Туда желаю достигнуть.

ст. 7: И видит, в ленте сонм денниц.

ст. 10: И свет остался без границ.

К строфе 11, ст. 3: Встает из праха дух свободный...

Отрывки опубл. в РС, РП, ЛН. Рукописных источников сохранилось много: Батеньков любил это произведение, часто его цитировал в письмах и переписывал отдельные части, хотя полностью восстановить не мог. Наиболее ценные автографы — ЛБ, Бат. — 6—10; ЦГАОР, ф. 1143, № 48; ПД, ф. 604, № 14. В ЛБ имеется интересное примечание Батенькова: «Без сомнения, найдут, что язык мой устарел и таких виршей, какие доводится привести, уже не печатают; но желаю я сказать в извинение, что выдавать себя поэтом я отнюдь не намерен, а избрал мою форму потому, чтоб потратить менее слов и легче их удержать в памяти, когда, по обстоятельствам, ничего писать не имел я возможности. К довершению несвоевременности, я, по личной для меня удобности, избрал строфу Державина». Такая суровая самооценка едва ли справедлива. В дошедшем до нас виде стихотворение как бы делится на три части: строфы 1—3 на тему «математика и архитектура», строфы 4 и 5 — «математика и мореплавание», отсюда обращение к Посейдону, имя которого, вероятнее всего, упоминалось в несохранившейся строфе, и описание его сына Тритона, строфы 6—11 — «математика и астрономия». Интересен впервые публикуемый отрывок о Солнце и иных мирах.

Переложение псалма 2

Зачем волнуются языки
И люди учатся тщете?
Везде бессмысленные лики
И поклоненье темноте.

Цари собираются земные
С толпою низких их рабов.
Горой упасть стремятся злые
На бога и его сынов.

Рекут: «Мы их расторгнем цепи»,—
Но гневный внемлют свыше глас:
«Господь мой праведный на небе,
Прияв меня, отринул вас.

Мне над земными племенами
В наследство власть дана Отцом.
Вас, непокорных, ввергну в пламя,
Железным сокрушу жезлом».

Цари и сильные, внимайте!
Ищите жизни вы в делах,
Со страхом божьим управляйте
И трепещите на пирах!

Господня сына вы почитите,
Зане ужасен гнев Его.
Себя от бедствий охраните,
Лишь уповая на Него.

20—40-е годы

1, 2 и 5 строфы опубл. в ЛН, с. 309. Полный текст — ЦГАОР, ф. 1143, № 48. В основу стихотворения положен 2-й псалом Давида.

Откровение

1

Нет, я не громом,— тишиною
Был и разбит и оглушен...
Возник Архангел предо мною,
В златые ризы облачен.
Его глаза добром светились,
Уста отверзты шевелились,
Но звук речей не слышен мне,
И лишь по уст его движениям
Гадать я тщился с напряженьем,
О чем вещал он в тишине.

2

Исчез, но угол мой унылой
Все кротким светом осиян;
С ночью темнотой постылой
Он, видный глазу, не слиян.
Почто же слово откровенья
В мое не вникло разуменье
И что же значил сей приход?
Не утолен святым глаголом,
Я вновь забудусь сном тяжёлым,
Гнетомый горечью невзгод.

3

Мне снились бытия истоки
 И средоточье гордых сил.
 Дух окриленный и высокий
 Меня под небо уносил.
 И в звезд холодном ликованьи,
 И в светозарном расстояньи
 От солнца-раз до солнца-два
 Святые слышались глаголы,
 Святые виделись символы,
 Вселенна коими жива.

4

Очнулся... Будет мне отныне
 Легко без света и тепла.
 Душа, причастная святыне,
 Для новой жизни ожила.
 Презрев и тлен и мрак унылой,
 Восторжествую над могилой
 Недавних суетных надежд.
 Отныне скорбь томить не станет;
 Не обожжет, не отуманит
 Слеза моих презревших вежд.

5

Мне указывает вдохновенье
 Первопричину бытия.
 Отнынь доступно откровенье
 И решена судьба моя.

 Переселюсь из бездны в бездну,
 Сто раз умру, сто раз воскресну,
 Начало сопрягу с концом...

20—40-е годы

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Одно из сравнительно немногих стихотворений, воспроизводящих душевное состояние Батенькова-узника в Петропавловской крепости.

1

Душа туда лететь стремится,
Где зрит сосветлые черты,
Чертогом золотым не льстится,
В дворцах не ищет красоты,
Под мирным кровом селянина
Ей часто радостей причина —
И веки там готова жить.
Сестра! Нам общее не тленье...
Пройдет телесное плененье,
Орлами будем мы парить.

2

Не тщетно мы слились сердцами:
Перст божий узел сей вязал
И тот же жар к добру меж нами
В единокровие создал.
Покойна будь в душе прекрасной!
Нам упование не напрасно:
Отец наш не оставит нас.
Богат он в милостях и силе
И сторожем к святой могиле
Приставил воскресенья час.

20—40-е годы

Строфа 1 печ. впервые по ЛБ, Елаг. — 2—64; строфа 2 — опубл. в РП, с. 46. Эти стихи содержатся в письмах Батенькова второй половины 40—50-х годов, но написаны еще в крепости, о чем косвенно свидетельствует сам автор: «Давным-давно пропел я это для тебя» (т. е. для А. П. Елагиной).

Стихи из „Писаний сумасшедшего“

1

...А что не созданы начала,
Свидетель неподвижность звезд.
Как мыслей в божестве символы,
Они должны вторить глаголы
Чрез сочетания без мест.

Пождем! — Минерва наиграла,
Пока Титаны на горах...

Вот Геркулес коснулся плуга,
Одна Медузина услуга
Мрачит природы красоты.
Возвысаясь над ея снегами,
Сияй прелестными очами,
И будешь древом жизни ты...

1845 — 1846

Имеется следующий вариант первого из набросков:

А что не созданы начала,
Свидетель неподвижность звезд:
То мыслей в божестве символы.
Их долг — вторить его глаголы
Чрез сочетания без мест.

Печ. впервые по ПД, ф. 265, оп. 2, № 133. В отличие от предшествующих стихотворений тюремного периода, стихи эти были записаны автором еще в крепости, в 1845—1846 гг. Неясно, чем мотивировано включение этих стихов в «Писания сумасшедшего» (общий контекст тут ничего не проясняет).

*Ритмизованные отрывки
из «Писаний сумасшедшего»*

1

Я пишу вот... Вам пишу.
Кто же я такой?
Реформатор какой-то...
Когда реформатор, то слово у меня.
К Правлению пишу,
К государю пишу,
Правление установило,
Государь определил.
Вот и предмет.
Как есть, так и есть,
То и знаю, что Бог есть.

Япония, Китай, Европа,
Америка, Россия
И прочее население земли
Недалеко еще отошли. .
Вот и древние народы...
Не оставили самодовольство и гордость.
Трудно еще наше положение в мире.
Сия Россия,
Изгнанница Азии,
Раба Европы,
Принадлежит к славянскому хребту,
Предназначенному судьбою
К срытию и уничтожению.
Выше всех и моложе всех...
Тонка, как ель лесов ея.
И качается от всякого ветра.

3

Много бед в царстве.
Но враг единственный... ничтожество.
Недавно еще родились в царстве.
Если б они и были, не было бы теперь
ничтожества.
Родиться и стало быть страшным.

4

Земля довершит цикл, возвратится в начало, будет
довершена и пересоздана.

Ежели и человек окажется в начале,
Он и будет умною тварию.
Что же конец?
Зрелость правления.
Осень вещей.

Если б сопрягся конец с началом... проявилась бы
вечность.

Всегда надобно стремиться к началу.
Новая только тварь уму удовлетворяет.

Ибо пройденное доселе пространство представляет
несомкнутую бездну.

Науку надобно поверить словом.
Расслушай: это земля, вода...

Разгляди: это земля, вода...
Ты узнаешь, что не шар они.

5

Слышу, говорят: кто же больше сделал, как мы?
— Когда же больше было, как в наше время?
Нет, отцы!
Точно смерть одна... Голая смерть.
Так сама громада вся и умерла.
Ничем невозможно возбудить вас.
— И могилы заросли
Их высокою травою.
А эта трава... вы.
Не видать мне с вами благополучных дней.
Не встречать ответа своему чувству.
Таково и есть несчастье.

Я и убедился в том, что не может быть зло иначе,
как злом государственным.

Чего не достает вам?
Силы ли? Средств ли? Послушания ли? Нет.
Бог не благоволит к вам.
Нет милости не сотворившим милости.
Да. Так оно.
Бог предвидит, что глупо,
И не дает вам.

Оно-то... Громада, естественно.
«А те внидут в покой мой».
Повторяю, давно ли было царство.
Видели, каких произвело вельмож.
Какие были вельможи.
Какая была светскость.
Любовь... — к науке любовь.
И любили царя.
Ибо царь не глупо: мучитель глупо.

1845 — 1846

Печ. впервые по источнику, указанному в предыдущем примечании, и по ЦГАОР, ф. 1143, № 148, за исключением первого отрывка, опубл. в ВМУ, с. 44—45. О целесообразности включения таких отрывков в число батынских стихотворений см. в 3-й главе нашей работы. Собственно содержательная сторона данных верлибров комментированию почти не поддается (своего рода «заумь»).

Надежда

Все та же Томь хрящ роет и несет,
Струит свои морщины молодые.
Кайма высот одним широким кругом
Объемлет город юный и живой
Под чашей вечного. Уединился
В неизмеримости безлюдных стран
Удел вселения самодовольный.
Своя здесь мысль. Свое — одно — здесь
чувство,

И страшно было бы за горизонт
Родной в пустыню им распространяться.
Все то же Солнце, звезды и Луна,
И непрерывная заря. Лишь гость
Едва примеченный давно промчится.
Все то же здесь: но я-то тот же ли?
Уже полвека грудь мою стеснили,
Скорбей и бедствий полные.— Еще
Люблю; и выступив из берегов,
Честей алкаю в океане. Хочу
Служить Творцу, Его исполнить волю.
И может быть, отечество и царь
Услышат истину в моем стремленье.
Я тот же. Да. Бессмертная душа
Не знает старости, и может воля
Стереть громаду мертвую препон.
Я верую, что долго буду жить,
И преступлю страну и поколение,
И возбужу отвыкшую любовь.

1846

Печ. впервые по ГПБ, ф. 49, № 13. Это первое стихотворение, написанное Батеньковым в Томске после 20-летнего заключения.

Из письма к А. П. Елагиной

Понятно, какая святыня окружает сельского священника, когда он один, при немногих свечах, собственно для неба отправляет служение и шумящий вдали его мир приносит в жертву. Мудрено ли ему чувствовать сияние вечного света.

Сей жрец чередовый завета
Завесой отделен от света,
Поет — и видит свой венец.

1849

Печ. впервые по ЛБ, Елаг. — 2—62. Письмо из Томска, датировано 10 октября 1849 г. *Чередовый* (др.-рус.) — от «череда» (последовательный в исполнении чего-либо порядок).

Песня

Он один меня так верно и сильно любил,
Он один мне без лести «люблю» говорил,
Но ответного чувства ему не дано,
Полюбила я страстно другого давно.
Этот мучит, лаская, впивая меня:
Я все ждусь не дожудся желанного дня.
Научите, к которой пристать стороне,
Дайте силу, оставленной, жить еще мне.

40—50-е годы

Печ. впервые по ГПБ, ф. 49, № 7. Кроме белого варианта сохранился черновик, где текст сопровождается схематическим наброском стихотворного размера (анapesta), с трудом, по-видимому, давшегося автору, о чем свидетельствует, в частности, ритмический перебой в 1-м ст.

* * *

Ты что-то читаешь
На чистых листках;
Грустишь и мечтаешь,
А зло на устах.

Альбом безответный
Молчит и молчит,
И негой приветной
Твой взор приютит.

Но кто меня ближе,
Чтоб слово начать
И дружбу не ниже
Любви поверстать?

Ты строк не целуешь,
Написанных мной,
Чуть взглянешь, минуешь
С улыбкой пустой.

Но время настанет
Припомнить их вновь,
Как сердце узнает,
Что в дружбе любовь.

40—50-е годы

Печ. впервые по ЛБ, Бат. — 6—14. Одно из немногих «любов-ных» стихотворений поэта.

* * *

Люблю я тебя, молодая,
Когда ты со мною дружна,
И входишь с улыбкой, вставая
От безмятежного сна.

Люблю, когда взором проникнешь
Мой наблюдающий глаз
И тотчас головкой поникнешь,
Чувствуя встречу зараз.

Люблю, когда мы приютимся...
И сидя при свечке вдвоем,
Ссоримся, спорим, миримся,
Чувства и мысли прольем.

Люблю, как, детей приголубив,
Ты, женщина, вместе и мать,
С тоской оторваться принудив,
Ищешь их мне передать.

Люблю, когда нежно, стыдливо,
Храня поцелуй на устах,
Проститься идешь горделиво,
Видя полночь на часах.

Когда же порою преступно,
Хоть смерти беда тут и будь,
Я дерзостно и неотступно
Никну на самую грудь,—

И слабо тобой охраненной
Устами святыни коснусь,
Тогда я душой оживленной
Сну в торжестве предаюсь.

Твой ропот и зол и напраслив,
Зачем тебе радость смущать?
Ведь я благодарен и счастлив,
Ты постыдишься страдать.

Богатая жизни волненьем,
И ты поцелуй не губи,
Любовь не зови нападеньем,
Дружбу и службу люби.

Почто же доселе свободной
Я ласки не знаю твоей,
Как будто душой благородной
Пренебреженный злодей?

Осмелюсь иначе помыслить,
Почувствуешь слов моих свет,
Забудешь мне лета исчислить;
Перед тобою — поэт.

40—50-е годы

Печ. впервые по ЛБ, Бат. — 6—14. Нельзя сказать с уверенностью, кому посвящены это и предыдущие интимные стихотворения, возможно, О. П. Лучшевой, с которой Батеньков сблизился в Томске и которая впоследствии поехала за ним в Европейскую Россию.

1

Каким огромным великаном
Я зрю тебя, Россия-мать!
Полмира облегла ты станом,
И не перестает сиять
В твоих пределах дня светило,
И море синее повило
Фатой волнистою тебя.
Ты опоясалась хребтами
И снегов вечных сединою
Покрыла, древняя, себя.

2

Венец из северных сияний
Почиет на челе твоём.
Как очи, полные познаний,
Так сопки блещут их огнём.
Как жил для боя напряженье,
Великих рек в тебе течение,
В громах лишь слышен голос твой.
Металлов квасом напаялась,
Кристаллов соли напиталась,
Полкругом видима луной.

3

Под гребнем зубчатым Норвежским
Висит Финляндская коса...

.
.
.
.
Я русский. Гордо бьется грудь
При имени России...
.
.

4

Сибирь, на рамо опираясь,
Приосеняет благодать.

Порфирой полной простираясь,
Кладет величия печать.
Ея воскраия — граниты,
Ея нарамник — мех открытый...

.
.
.

1850 (?)

РП, с. 76 и 81 Стихотворение относится к числу патриотических, воспевающих Россию.

* * *

1

Не тщетно вечность был прикован
К скалам Кавказа Прометей,
Закон любви на нем основан,
Живое слово для людей,
Что света и огней струями,
Зевес, в нем скрытый красотами,
Танталов жажду утолит,
Сатурна косу в ток расправит,
Урана жезл за Стикс поставит
И врана голубем сменит.

2

Умолкните, Синяя громы,
Явился нежный вновь Орфей!
Пусть агнец с тиграми пасомый
Взыграет по струне твоей!
Пусть роза чувствует дыханье
Четы счастливой; обладанье
Одних сердец заставь желать:
Тайн довременных откровеньем
Распространись над всем твореньем
И проповедай Бога-мать.

1853 (?)

Печ. впервые по ЛБ, Елаг. — 3—5. Повод для упоминания о Прометее, судя по контексту содержащего текст стихотворения батеньковского письма к А. П. Елагиной, — изобретение железных дорог, строительство которых было бы немыслимо без похищенного Прометеем огня. Письмо со стихотворением датируется 4 июля 1853 г.

Раздумье

Сижу задумчив у окна.
В неосвещенные покои
Ко мне с небес глядит луна;
Искрятся блестками обои
На стенах моего жилья...
Не в царстве ли волшебном я?

И ночь морозная, и горы,
И снегом занесенный лес,
И вечный звездный свод небес —
Все, все мои ласкает взоры:
Прекрасен мир, явленный мне
Картиной чудною в окне...

Но не восторг душой владеет,
Немая грусть ее томит.
Огонь священный не горит,
А тихо теплится и тлеет,
И вдохновенья не вдохнуть
В мою бестрепетную грудь.

В тюрьме провел я много лет,
С единым пребывая богом...
Почто ж опять я вышел в свет,
К людским заботам и тревогам? —
Не лучше ль было жить вдали
От горестных сынов земли?

Их всех не стало предо мною
В единый миг. Их миру чужд,
От общих отрешенный нужд,
Я жизнью уж дышал иною —
Свободен был, сочтя, что связь
С людьми навеки прервалась,

О днях бывшего заточенья
Пора настала пожалуй...
Мне б муки прежние терпеть,
Лишь только б слово откровенья,
Как в оны дни, звучало вновь,
И как тогда, вскипала б кровь!

А здесь, на воле, силы духа
Заснули безмятежным сном,
Синая не грохочет гром,
Не будит дремлющего слуха:
Оцепенел! — Так подо льдом
Зимою цепенеет Томь.

Что ж, я ведь, с вашего согласия,
Седого Севера дитя;
И в том богатство вижу я,
В чем вы — тоску единобразья.
Так пусть меня объемлет ширь
Твоя, красавица-Сибирь!

Помыслив о друзьях далеких,
Гляжу на точки звезд высоких.
Меж нами тьма, меж ими тьма.
И здесь зима, и там зима...

1854

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Сходное выраженному в этих стихах настроение дает о себе знать в письме Батенькова к А. П. Елагиной от 15 декабря 1854 (ЛБ, Елаг. — 2—64).

Из письма к А. П. Елагиной

Моя к тебе симпатия до того крепка и разумна, что я мучиться буду, ежели останется между нами расстояние, не вместе будем созерцать творца и не соединимся его вечным словом. Не должно быть так.

Оставив тленные красы,
Там вечным светом насладимся,

Когда все в урне совместимся
Под общим чувством: мы и сый.

1854

Печ. впервые по ЛБ, Елаг. — 2—64. Письмо от 28 декабря 1854 г.

* * *

1

Не знаем, куда девались наши родные морозы, уж
не отправились ли они в Крым, по призыву всех стихий,
куда

Урал пойдет стеной навстречу,
Совьется в крепости Валдай,
Вольются Днепр и Волга в сечу,
Огнями заблестит Алтай,
И пушек писк, едва приметный
В громах его, поглотят Этны.

Дружно гордо русское чувство. Долг запада навс-
вать на нас теплоту, а в ледяных, твердых и бурных
силах мы неистощимы.

2

Победы не завидна доля,
Где всё — взволнованная кровь.
Победе слава, ум и воля,
Но дивно встретить тут любовь.

3

Стащу стопушечные с суши
И в сто узлов пушу бежать...

1855

Черновой вариант 2-го наброска: *Победы не дана мне доля,
Где все... взволнованная кровь. Победе свет, и ум, и воля. И освя-
щенная любовь.* Печ. впервые по ЛБ, Елаг. — 2—64; Бат. — 6—14.

Письма к А. П. Елагиной, куда вошли 1 и 3-й отрывки, датируются 11 февраля и 8 апреля 1855 г. Стихи навеяны известиями о событиях Крымской войны.

Из письма к А. П. Елагиной

...Река только сюда и привлекает. Люблю ласкать
и целую ея хрустальные грации: это моя супруга, моя
Иппокрена и Лета для всех забот:

Хочу ли выпить полной чашей
В игривых радость красотах,—
Дам ток свободный страсти нашей,
И в зеркальных ея водах
Я к бесподобной моей Леде
Приблизжусь лебедем, и в следе
Двух струек узел отразит
Сердец насытых сочетанье,
Разбег их — чувства возрастанье,
Кружочки — верный неба щит.

1855

Опубл. в ВМУ, с. 44. *Река* — Томь.

Молитва старца

Владыко, отпусти слугу
В родной дом с миром по глаголу:
Я видел свет, исшедший долу,
И указать его могу,—
Языкам возвестить спасенье...

.

1856

В других списках стихотворение называется «Песнь Симеона». Печ. впервые по ПД, ф. 265, оп. 2, № 2468. Входит в письмо Батенькова к В. И. Штсйнгелю от 24 мая 1856. Автор сообщает, что прочитал работу химика Либиха, в которой признается бытие божие, и это будто бы дает основание Батенькову «сказать с Симео-

ном: Владыко, отпусти слугу...» и пр. Таким образом, это не что иное, как стихотворное переложение знаменитого Симеонова «Ныне опускаеши».

Non exegi monumentum

Себе я не воздвиг литого монумента,
Который бы затмил великость пирамид;
Неясный облик мой изустная легенда
В народной памяти едва ли сохранит.

Но весь я не умру: неведомый потомок
В пыли минувшего разыщет стертый след
И скажет: «Жил поэт, чей голос был негромок,
А все дошел до нас сквозь толщу многих лет».

Узнают обо мне в России необъятной
Лишь те безумцы, чей мне сродствен странный дух.
Ни славой, ни молвой стоустой и превратной
Не отзовется вдруг прошелестевший слух.

О чем сей слух? О том, что, в сумрачной Сибири
Влача свой долгий век, я истину искал,
Что был я одинок, но счастлив в этом мире
И в дни душевных гроз стихи свои слагал.

О Муза! Не гордись тяжелым вдохновеньем
Вошедшего в твой храм угрюмого жреца:
Снискать не суждено его песнотвореньям
Вечнозеленый лавр для твоего венца.

1856

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Вольный перевод 30-й оды Горация, к которой обращались Ломоносов, Державин, Пушкин. Однако у Батенькова, скорее, получился «анти-Памятник», чем «Памятник», чего он, впрочем, и добивался (см. название стихотворения). Привычные поэтические формулы как бы перевернуты: не воздвиг монумента; Муза, не гордись и пр.

Из письма к С. П. Трубецкому

Решено: в путь! Дважды воскресшим называли
меня — третий раз воскресаю. Боже мой, последняя

Холодно солнцу — сквозь тучи в лужах твоих
отражаться,
Что ж мне так душно и жар пылает в моей голове?
Как я хочу, родная, горячей щекою прижаться
К влажным, студеным главам милых твоих церквей...

Здесь, на просторе твоём, войду я в обитель покоя,
Щелкнет прощально ключ, запирая дубовую дверь.
В эту тяжелую дверь не постучится бывшее
С болью напрасных надежд и невозвратных потерь.

В сумраке здешних кладбищ таится соблазн
избавленья,
Но не от жизни, нет, — от ненужных дел и забот...

1856

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Первое стихотворение, написанное Батеньковым по возвращении из Сибири. Примечательно в отношении ритма: рифмованные (!) гекзаметры и пентаметры.

*Хоры девиц
из драмы о Борисе Годунове*

1

За рекой вокруг холма
Рожь вздымается,
А княжна к ней сама
Приближается.
Весела и мила
Раскрасавица,
У обедни была
Добронравица.
Чудотворцам молилася
И как чудо явилася.

2

Орел летит —
На солнце зрит,
Нетопырь летит —
На пол глядит.

Не румяньтесь, девицы,
Не белите лица.
В том и честь,
Чтоб быть как есть.
Не гадай, старуха,—
Не приложим уха.

1856 (?)

Опубл. в ВМУ, с. 45, 46. Эпоха Годунова и самая личность царя интересовали Батенькова, помимо других соображений, как историка Сибири, в частности Томска, основанного при Годунове.

Песнь скопца

Сладим-река течет из Рая,
Собой вселенну наполняя.

К ея лазоревым волнам
Спешил, не ведая покоя.
Да снидет сон моим очам,
Как птицам — утро голубое,
Как класу — солнце золотое!

От стаи белых голубей
Не отобьют меня соблазны,
Меня пленить они не властны
Греховой силою своей,
Мирские бури не опасны
Для наших белых кораблей!

От темных искушений зла
Спасен я огненным крещеньем.
Ликую, чужд плотским влеченьям:
Христу хвала! Христу хвала!

Небес веселых высота!
Телес бесполох чистота!
Собой вселенну наполняя,
Сладим-река течет из Рая.

1856

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. По-видимому, Батенькова интересовала история и поэзия русского сектантства. В стихотворении использованы символика и образность, восходящие к скопческому вероучению: *Сладим-река, текущая из Рая*; *белые голуби* — так скопцы называли себя; *корабли* — скопческие общины; *огненное крещение* — магический обряд оскопления. 2—6 стихи — автореминисценция из стихотворения «Исход» (см. 4-ю строфу).

На проезд мой в Калугу

1

Меня Окою окаймленный
Град новосельем подарит.
Легенды старинны священной
Поведать страннику сулит.
Предаться ль здесь воспоминаньям,
Иль духу волю дать к мечтаньям,
Усталый упокоить ум,—
К тому здесь все располагает:
Здесь время медленно ступает
И бытия чуть слышен шум.

2

Друзья мои! Какой судьбою
Я б ни был занесен сюда,
Я рад нисшедшему покою,
Душа свободна и горда,
Готов себя в счастливицах числить,
Могу светло и ясно мыслить,
Стихи слагаются легко,
Зефир прохладу навевает;
Скажите: разве что мешает
Дышать всей грудью глубоко?

3

Но память пережитых бедствий
Не престает меня тягчить.
Добра от зла, причин от следствий
Ни мне, ни вам не отличить!
Боюсь я: время обратимо,
Ничто не пролетает мимо,

Вернется ужас прошлых лет,
И вновь из мира исторженный,
Последних радостей лишенный,
Очнется в крепости поэт.

4

Есть безнадежность роковая
В круговращеньи бытия.
Умру, с тоскою созная,
Что вскоре вновь воскресну я.
Кольцо, кольцо! Символ жестокой!
Из бездны мрачной и глубокой
Взлетая к горним небесам,
Не мните ль вы, друзья любезны,
Что вы избавились от бездны,
Что небо благосклонно к вам?

5

О нет! Обманчивой дугою
Ваш след прочерчен в вышине,
А сами силой роковую
Влечетесь к прежней глубине,
В юдоль заклятых царств подземных,
В могильный мрак твердынь тюремных,
В обитель вздохов и скорбей.
Найти исход в смятении тщитесь
И, проклиная жизнь, страшитесь
Ея бессмысленных затей.

6

Мне знать дано сию науку,
Рассудок ею умудрен.
Род человеческий на муку
Недаром роком обречен.
Глаза издавна приобыкли
Провидеть неизбежность в цикле
Коловращательных премен.
Бежим из тягостного плена,
Спешим от гнилостного тлена,
А завтра: тот же плен и тлен.

Власть очарованного круга
 И непреложна и крута.
 В самом названии: Калуга —
 Все та же скрыта круглота.
 Меня Окою окаймленный,
 Рекою тихой и смиренной,
 Град новосельем подарил,
 И солнца луч, едва приметный,
 Своей улыбкою приветной
 Пришельца ласково почтил.

1857

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Декабристам, вернувшимся в Европейскую Россию, не было предоставлено право жить в столицах; Батеньков сначала поселился в Белевском уезде, в имении Елагиных, а потом в Калуге. Строфа 1: *Здесь время медленно ступает* — автореминисценция 36-го стиха «Одичалого»: «И время медленно ступает». Содержащиеся в последующих строфах рассуждения о круге, цикле, кольце характерны для Батенькова-философа, считавшего цикличность одним из основных законов мироустройства.

Из письма к А. П. Елагиной

На твою персидскую мудрость у меня есть ответы:
 Пусть так: ходить, стоять, лежать
 Я сам могу, а не причина.
 Могу, — то должен отвечать,
 Как раб за деньги господина.

Или:

Господь определил отставки
 За выслугу законных лет,
 За то, что толку в службе нет,
 За мотовство, гульбу и взятки.

В отставке быть хитро, и чем?
 Как? пощетинишься на вольце?
 Все ум, все дух, один, ни с кем,
 Без места, без земли, на солнце.

1858

Полностью печ. впервые по ЛБ, Елаг. — 2—65, второе четверостишие опубл. в ВМУ, с. 44. Стихи, по мнению самого автора, «нехороши, без поэзии, негладки и не совсем кстати, как деловая очистка, да сунулись тут почему-то». «Персидская мудрость», о которой писала Елагина Батенькову, известна: «Ты вероятно знаешь персидскую сентенцию: лутче стоять, чем ходить, лутче сидеть, чем стоять, лутче лежать, чем сидеть, а всего лутче смерть» (ЛБ, Бат. — 11—20, 28 апреля 1858 г.).

Отрывок

1

Я, страстью к творчеству несытой
Разбужен, вновь к реке бегу...
Как много глины здесь размытой,
На этом вязком берегу!
Ее месить и мять перстами,
Лепить и днями и ночами —
И се мир новый изваян,
И грады новые, и села,
Чтоб жизнь людская в них кипела
И смысл ей высший был бы дан.

2

Не так ли все мы: россы, турки,
Французы, греки, чудь, мордва —
Есмы лишь глиняны фигурки,
Ваянны волей божества?
На лбах, что трещинки, морщины —
Следы вседневных кручины
И разрушительных страстей.
Их обуздав, да просветлимся,
Даров бессмертья причастимся,
Постигнем тайну жизни сей.

1858

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Отношение к себе как к человекобogu-творцу, создающему свой собственный мир, сложилось у Батенькова еще в тюрьме. В данном стихотворении дают о себе знать рецидивы подобного настроения.

1

Сыздетства к Северу любовью
Была полна душа моя.
По дикому его раздолью
В мечтах моих скитался я.
Хотелось с мертвою пустыней
Слить дух, как с некою святыней...
Пути искал я к берегам
Того неведомого моря,
Где мрачных волн, с Бореем споря,
Родится гул, не слышный нам.

2

Сбылось... Я стал островитянин,
Дыханье Норда ощутил.
Но человек непостоянен!
Смятенье и упадок сил
Мне были горестным уделом...
Восторга в сердце онемелом
Напрасно б я тогда искал.
Я мрачных волн страшился гула,
Тоска мне душу захлестнула,
Я волю к жизни потерял.

3

Теперь, старик, свое отживший,
На твердой я земле стою.
Шум волн, меня тогда смутивший,
Не внидет в хижину мою.
Но загремит ручей в овраге —
И дрогнет сердце у бедняги:
То, мнится, Севера призрак
Катится мрачною волною,
Грозя дремотному покою
И ужаса являя знак.

4

Пустое! Смолкни, гул тревоги,
Замри в неведомой дали!

В могиле, как медведь в берлоге,
В объятьях матери-земли,
Друзья мои, засну я вскоре.
И что мне северное море? —
Далек его туманный берег.
Я пленник есмь иной стихии,
И в недрах милой мне России
Обрел приют свой и ночлег.

1858

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48, *Стал островитянин...* имеется в виду пребывание Батенькова в Свартгольме (Аландские о-ва).

Оттепель в Уткине

Истаял снег, и под водой
Близ речки оказалась пойма.
Ну впрямь подобие Швартгольма:
Борей и будто шум морской.

Сей остров окружен не морем,
А все, как там, и страшно мне
С забытым вновь спознаться горем,
Хотя бы и в минутном сне.

Есть разгуляться где морозцу
И вод бесчинство поприжать.
Пора победу одержать
Седому чудо-полководцу.

1858

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Со Свартгольмом Батеньков сравнивает Уткино (одну из елагинских деревень) также в одном из писем в ноябре 1858 г. (ЛБ, Елаг. — 2—65).

* * *

Язык коснеет, кровь хладеет —
К чему бы это, господа?

Уж видно, скоро жизнь дотлеет
И я исчезну без следа.

Был одержим одною страстью —
Служить добру сверх меры сил.
Не знаю, к счастью иль к несчастью
Той жажды я не утолил.

Нам, реформаторам, дай волю —
Добра такого натворим,
Так перепашем жизни поле,
Такую кашу заварим,

Что благонравные потомки,
Замыслив прежнес вернуть,
Лишь бренны обретут обломки,
Спасенья преградивы путь.

Так, бремя праздности постылой
Меня тягчило поделом.
Меня помянут над могилой
Пусть не добром — а и не злом!

«Великих, — скажут, — сил духовных
Почиет муж под камнем сим:
Не сделал дел, его достойных,
За что его особо чтим!»

Вот, о грядущем размечтался,
На миг развеяна тоска,
С дурными мыслями расстался,
Не разрешимыми пока...

Не в тягость вовсе мне безделье,
Не так уж горестно оно...
Забиться б в благостном веселье,
Пить искрометное вино —

...Но кровь холодна, язык коснеет,
К чему бы это, господа?
Эх, видно, скоро жизнь дотлеет
И я исчезну без следа...

1859

Печ, впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Стихотворение ~~написано~~ сано как своеобразная автоэпитафия (жанр, известный поэзии XIX в.: см. хотя бы пушкинское «Здесь Пушкин погребен...»). Нам, реформаторам... едва ли это связано с ожиданием реформ 60-х годов: реформатором Батеньков называл себя еще в Петропавловской крепости. *Преградивы* (др.-русс.) — преградившие.

Великий муж

I

Портрет

1

Пред ним бесчестие бледнеет
И сякнет всякой скверны ток.
К нему приблизиться не смеет
Ему неведомый порок.
Чело заботами мрачится,
Но добродетелью лучится
Его проникновенный взор,
И с вещей уст слететь готово
Высокого значенья слово,
Благих премудростей собор.

2

Смиренно я главу склоняю
Пред дивным гением его,
Ему заветное вверяю —
И жизнь отдал бы для него,
И труд ума, и трепет сердца!
Но странно: нет единоверца
В людском кишенье у меня,
И тот, кто стал моим кумиром,
Не понят равнодушным миром,
Напрасен жар его огня.

3

Тому, чья доблесть безупречна,
Ключи правленья не даны.
Неприхотлива и беспечна —
Увы! — история страны.

Слепой ея вершитель случай,
И ум великий, ум могучий,
В пустом бездействии томясь,
Вотще ей правый путь укажет
И слово истины ей скажет:
Затоптан будет бисер в грязь.

4

Тому, чья доблесть безупречна,
Быть не дано любимцем дев:
Любовь легка и скоротечна;
Греха и блуда восхотев,
Мартышка не со львом к слиянью
Стремится, волю дав жсланью:
Иной супруг потребен ей.
У нас разврат давно в почете,
Везде и без труда найдете
Дурных кипение страстей.

5

Над тем, чья доблесть безупречна,
Смеются плут и вертопрах.
Так было, есть и будет вечно
Добра поборникам во страх.
Муж, для великого рожденный,
В иных глазах тупец надменный,
Слывет ханжою и брюзгой:
«Его докучны бормотанья,
Его нелепы предсказанья,
Он не мыслитель, а изгой».

II

Метаморфоза

1

Его отринули невежды. •
В пустыню удалился он;
Там, сбросив тленные одежды,
На миг остался обнажен.

И подвиг чуда совершился!
Весь вид его преобразился,—
Небес отверзтых высота
Сияла райским ликовањем,
Когда под новым одеяњем
Сокрылась мужа нагота.

2

Древесной обросли корою
Власаты перси, мощный стан;
Зеленой свежелою листвою
Собор седых кудрей венчан.
Впились, как корни, в землю ноги —
Ни шагу боле по дороге!
И ветви вдаль простертых рук
С их узловатыми перстами
Висят над знойными песками,
Приосеняя все округ.

3

Обильный влагою оазис
В пустыне островом возник,
Когда луна в четвертый фазис
Свой бледный обратила лик.
Всосали корни сок прохладный,
Цветы зарделись ароматны
Меж юных листьев: жди плодов!
Жди — да отведаешь сладчайших;
Судьбы решений высочайших
Да будешь смысл понять готов!

4

Великий муж стал деревом жизни,
Бесценны коего плоды
Заменят мачехе-отчизне
Иссякший ток живой воды.
Се дар от пасынка-изгоя!
Им обретенного покоя
Никто уж боле не смутит.
Спешат под сень святого древа
И пылкий юноша и дева:
Они поют — оно молчит.

Но мне глагол неизреченный
 Важней произнесенных слов.
 Таится в нем символ священный
 И бьется пульс первооснов.
 А где ж насмешники бывые,
 Тузы и хваты удалые?
 Они, как плевелы, сгниют,
 В них нет животворящей силы,
 И вскоре ветры-борзокрилы
 Их прах по свету разнесут.

1860

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. «Портрет», строфа 5: *Муж, для великого рожденный* — автореминисценция из «Тюремной песни», строфа 16: «Ум, для великого рожденный». «Метаморфозы», строфа 4: *Великий муж стал деревом жизни* — ср. со стихами из «Писаний сумасшедшего»: «И будешь деревом жизни ты...»; строфа 5: *ветры-борзокрилы* — быстрокрылые ветры.

Гордыня

1

Не дрогнув трус в бою, кичится
 Отвагой бранною своей.
 Зла не свершив, добрейшим тщится
 Себя представить лиходея.
 Изъяны скрыв, урод-сквернавец
 Воскликнет: «Чем я не красавец?»
 А неудачники в любви?
 Чуть улыбнется им удача,
 Они, как сплетники, судача,
 Восславят подвиги свои.

2

Дружил я с Марсом и Амуром,
 Но тем нимало не горжусь.
 Нет безобразья в лике хмуром,
 Но и в красавцы не гожусь,

Не грабил по большим дорогам —
Ужели пред людьми и богом
Гордиться сим? Не сим — так чем?
Своим былым долготерпеньем?
Двадцатилетним заточеньем?
О нет, друзья! Горжусь не тем...

3

Но тем горжусь, что в этом мире
Я много мыслил; что подчас,
Седого океана шире,
Мысль к беспредельному неслась.
О, сколько было дум высоких,
Решений важных и глубоких,
Вторжений в тайны бытия!
Кипел мой ум, звяцала лира,
И стройную великость мира
Благословляла песнь моя.

4

Что ж! коли трус отвагой славен,
А душегубец добротой, —
Их жребий моему ль не равен?
Един для всех закон крутой.
Безумен, кто умом гордится,
Кто мыслью мир обнять сей тщится!
Мой помешательство удел.
Потерян смысл, затмились думы,
Безумец жалкий и угрюмый
Заветной песни не допел...

5

Гордыня, сей рычаг опасный,
Все перевернула кверху дном.
Мятеся человек злосчастный,
Расстройством бытия гнетом.
Чтоб в мир внести порядок прежний
Иль новый, прежнего надежней,
Порядок мира учредить, —
В сердцах с их трепетным биеньем,
В душах, охваченных волненьем,
Тщеславье должно истребить.

И — с чем остаться? Рск Державин:
 «Я царь, я раб, я червь, я бог!»
 Но кто ж царю и богу равен?
 «Я раб, я червь» — таков итог,
 А с этим мудрено смириться.
 Сколь легче доблестями гордиться,
 И тени коих нет у нас...
 Горжусь, что мыслил в этом мире,
 Что, бурных океанов шире,
 Мысль к беспредельному неслась.

Несокрушимый дух гордыни
 Тщеславыю пошлому не брат.
 Я не поставлю их отныне
 В единый ряд, пороков ряд!
 Себя с надутыми глупцами
 Сравнил — что ж общего меж нами?
 Ошибки сей не повторю...
 Мне не к лицу уничиженье!
 Пустых словес прервав течение,
 Да к горным высям воспарю!

Да воспарю!.. — но ах: усталость
 Претит полету в небеса;
 Ум, схоластическую шалость
 Себе позволив, не взвился
 Орлом, но дремлет, обессилен,
 Громам не внемлет, обескрылев:
 С абстрактами неравный бой
 Нас отягчает, утомляет
 И, яко оцт, не утоляет
 Духовной жажды в жаркий зной.

Вернись, гордыни славный гений,
 Вернись и силы мне верни,
 И сонм докучливых сомнений,
 Мною овладевших, отжени!

Провижу область дум высоких,
Решений смелых и глубоких,
Вторжений в тайны бытия!
Мой ожил ум, звяцает лира,
И стройную великость мира
Благословляет песнь моя.

10

Узлы развязаны. Свободу
Мятежный торжествует ум.
Созвучен солнцеву восходу
Всемирна ликованья шум.
Смотри! Безбрежный, величавый,
В лучах зари и вечной славы,
Ея сияньем осиян —
Вздымаясь мощными волнами,
Струясь студеными струями,
Гордыни рдсет океан...

1860

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Строфа 2: *Дружил я с Марсом* — имеется в виду участие Батенькова в военных событиях 1813 г.; строфа 4: *Мой помешательство удел* — речь идет о пережитой в тюрьме душевной болезни; строфа 6: *Я царь, я раб, я червь, я бог* — эти слова из державинской оды «Бог» Батеньков цитирует также в письме к А. П. Елагиной 28 октября 1847 г. (ЛБ, Елаг. — 2—61); строфа 8: *яко оцт* — «подобно уксусу» (одному из атрибутов страстей Христовых); строфа 9 — *отжени* «отгонн».

Песни дорожные

1

Колеса подмазаны,
Чемоданы завязаны,
Вальки привязаны,
Все слова сказаны.

Я еду — еду. А куда?
Зачем? Надолго ли? Не знаю.
Мелькнут, как тени, города,
Деревни — всех не сосчитаю.

Лишь пыль дорожная летит,
Да колокольчик мой бренчит,
Да в тучу солнышко садится...
Старик беспечнее юнца!
Он рад до самого конца
По свету без толку кружиться.

2

Колеса подмазаны — и проч.

Прощайте, милые мои!
У вас хлопот по горло... Впрочем,
Напрасно мы, как муравьи,
Всю жизнь усердно так хлопочем.
Не странно ль? — тихий домосед
Захвачен вихрями сует,
А странник сих сует не знает;
Ужель в движении — покой?
Покой, да видите какой:
Его ничто не нарушает.

3

Колеса подмазаны — и проч.

Я разболтался непутем,
Но вы не слышали, и ладно.
Укроюсь поплотней плащом,
Зане становится прохладно.
А лучше бы всего уснуть:
Во сне покойно дышит грудь
И силы ветхие свежают.
И пусть в вечерней вышине,
Как будто в легком полусне,
Мигая звездочки синеют...

* * *

Колеса подмазаны,
Чемоданы завязаны,
Вальки привязаны,
Все слова сказаны.

1862

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Припев, кроме стиха *все слова сказаны*, содержится также в письме Батенькова к А. П. Елагиной (ЛБ, Елаг. — 2—61).

12 апреля 1862 г.

Мой близится горестный путь к рубежу,
За коим видна беспредельность,
И яко цевница звяцает мое
К скорбям приобыкшее сердце.

Неторной дорогой я шел по земле,
Стремясь к недоступной мне цели,
Но верные блага утратив свои,
Я жизнь презирать научился.

Кто боль испытал невозвратных потерь,
Тот, верно, меня не осудит,
И ты не осудишь, усопший поэт,
Гонимого роком скитальца.

Слепой, наугад, я бреду без тебя,
Но чаю грядущия встречи
С тобою и сонмом великих мужей,
Бессмертным свершеньям причастных.

Недаром цевницей звяцает мое
К скорбям приобыкшее сердце:
Над нами и бури ярились вотще,
Над нами и тленье не властно.

1862

Печ. впервые по ЦГАОР, ф. 1143, № 48. Стихотворение написано к десятилетию со дня смерти В. А. Жуковского, с которым Батеньков был дружен еще до 1825 г., по стихотворному размеру идентично элегии Жуковского «Теон и Эсхин». *Но верные блага утратив свои, / Я жизнь презирать научился* — реминисценция из «Теона и Эсхина»: «Ты верные блага утратил свои, Ты жизнь презирать научился». Имеются и другие переклички данного текста с элегией Жуковского.

Из письма к Н. А. Елагину

Давно полна сынов полезных
Россия, мать полубогов.

Шагнут, и всякий прах стрясется,
Орел до солнца вознесется,
Уже голов он не согнет.
Давно в когтях он держит громы,
А всадник, им в груди несомый,
Давно копытом змея мнет.

1862

Печ. впервые по ЛБ, Елаг. — 3—3. Это последнее из дошедших до нас батынковских стихотворений. Представляет собой, судя по контексту письма от 17 октября 1862 г., иронический панегирик деятелям новых учреждений, возникших после и в результате аграрной реформы 1861 г.

СТИХОТВОРЕНИЕ, ПРИПИСАННОЕ БАТЕНЬКОВУ

**Утренняя песнь
(Из Кампе)**

Твой первый долг — благодаренье
К творцу! — душа вспрянувши вновь.
Господь услышит твое пенье,
Воспой ему хвалу — любовь!

В своей охране — слабосильный,
Я лег и тихо, мирно спал,
Кто ж, благостию столь обильный,
Меня хранил, мне сон послал?

Се ты, Господь, владыка света!
Тобой мы движемся, есмы.
Се ты, по благости совета,
Меня восставил вновь из тьмы.

Хвала святому Провидению!
Хвала тебе, Господь, бог сил,
Что мне еще день к наслажденью
По тихой ночи присудил!

Пошли твое благословенье,
Подаждь мне путь твой совершить,
И сам мне даруй наставленье,
Тебе угодное творить!

Ты будь и впредь мой Бог-хранитель,
Надежда вся моя, творец!
Будь мне в напасти покровитель
И к слабостям моим отец!

Подай мне сердце непорочно,
Исполнено любви к другим,
Чтоб ревностно, всегда и точно
К делам стремилось благим!

Чтоб я, как сын благословенный,
К добру питал и к правде страсть,
А не страстями ослепленный,
Порокам отдался во власть!

Чтоб трудности не опасался
Я в нужде ближним помогать,
Их счастьем бы восхищался,
Умел доброт их цену знать!

Чтоб благо жизни скоротечной
К тебе с признаньем я вкусил
И с духом радостным в путь вечный
По манью твоему вступил!

1827

ССД, автором назван Бестужев-Марлинский. В примечаниях издатель (Н. Гербель) объясняет, что до ссылки в Якутск Бестужев находился в Свартгольме. Это не соответствует действительности: из поэтов-декабристов только Батеньков был направлен в Свартгольм. В пользу того, что именно он может быть автором «Песни», свидетельствует то, что текст ее записан в тетради Штейнгеля вместе с «Одичалым»; указано место написания — Швартгольм и дата: 19 января 1827 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга закончена. «Воскрешен» ли Батеньков-поэт? Ведь далеко не каждая публикация неизвестного материала гарантирует ему новую жизнь в истории культуры. В данном случае речь идет о поэте, который отнюдь не считал себя призванным обогатить ее своими творениями. И может быть, Батеньков имел достаточно серьезные основания прятать от мира свои стихи. Мало кто о них знал; об иных — никто. Печататься — такой и мысли не было. Здесь, наверное, сказывалось опасение: не осмеют ли? Да едва ли и напечатали бы («Одичалый» — исключение). Не думал поэт и о том, что стихи его увидят свет в далеком будущем.

Но в изучении русской поэзии XIX в. интересен и значителен любой новый материал. Тем более это касается плеяды декабристов, окруженных ореолом высокой поэзии. И в чем никак уже не приходится сомневаться, — в декабристских поэтических антологиях батеньковские стихи должны занять достойное место. Не будет Батеньков лишним и в другом ряду, — в ряду русских поэтов-экспериментаторов. Правда, необходимо еще доказать, что они — вместе с Батеньковым! — действительно составляют единый ряд, «вытянутый» во времени от истоков новой русской литературы до наших дней. Эта чрезвычайно актуальная проблема могла бы быть предметом большого специального исследования.

Автор романтической и глубоко самобытной, своеобразной поэмы «Одичалый», поэт, продолживший в некоторых произведениях традицию литературы XVIII в., традицию классицизма, экспериментатор, извлекавший из слов и их сочетаний неожиданные эффекты, — таким предстает перед нами Батеньков. Трагическая судьба закрыла перед ним многие двери. Но она же открыла ему дверь в историю. Думая в тюрьме о своей столь необычно сложившейся жизни, о своей исключительной участи, Батеньков с полным правом сказал о себе в «Писаниях»: «Немногие вынесли столько душевных бурь». То же самое повторил он в одном из стихотворений: «Я много вынес бурь душевных...». В одну из таких «душевных бурь» была создана поэма «Одичалый» — высшее творческое достижение Батенькова. И отголоски этой бури слышатся в других его стихотворениях, достойных составить волнующую страницу в огромной книге русской поэзии.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
-----------	---

Часть I ОЧЕРК ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

<i>Глава первая</i>	
Личность и судьба поэта-декабриста	9
<i>Глава вторая</i>	
«Одичалый»	20
<i>Глава третья</i>	
«А где-то в камере глухой...»	34
<i>Глава четвертая</i>	
Лирика сибирского периода	46
<i>Глава пятая</i>	
Стихи последних лет	58
<i>Глава шестая</i>	
Эстетическое credo и самосознание поэта	70

Часть II ТЕКСТЫ И КОММЕНТАРИИ

«В стране Борея вечно льдистой...»	90
Из письма к А. А. Елагину	90
Шуточные двустилиши из посланий к Елагиным	91
Одичалый	92
Тюремная песнь	98
Из «Тюремной песни»	113
«Я прожил век в гробу темницы...»	115
Узник	116
Исход	117
Таинства	119
Песнь девятая	122
К математике	123
Переложение псалма 2	127
Откровение	128
А. П. Елагиной	130
Стихи из «Писаний сумасшедшего»	130
Ритмизированные отрывки из «Писаний сумасшедшего»	131
Надежда	134
Из письма к А. П. Елагиной	134
Песня	135

«Ты что-то читаешь...»	135
«Люблю я тебя, молодая...»	136
«Каким огромным великаном...»	138
«Не тщетно вечность был прикован...»	139
Раздумье	140
Из письма к А. П. Елагиной	141
«Не знаем, куда девались...»	142
Из письма к А. П. Елагиной	143
Молитва старца	143
Non exegi monumentum	144
Из письма к С. П. Трубецкому	144
Москва	145
Хор девиц из драмы о Борисе Годунове	146
Песнь скопца	147
На приезд мой в Калугу	148
Из письма к А. П. Елагиной	150
Отрывок	151
Север	152
Оттепель в Уткине	153
«Язык коснеет, кровь хладеет...»	153
Великий муж	155
Гордыня	158
Песни дорожные	161
12 апреля 1862 г.	163
Из письма к Н. А. Елагину	163
Стихотворение, приписанное Батенькову	164
Послесловие	166

Александр Анатольевич Илюшин
ПОЭЗИЯ ДЕКАБРИСТА Г. С. БАТЕНЬКОВА

Зав. редакцией М. Д. ПОТАПОВА. Редактор Т. М. ИЛЬЕНКО. Худ. редактор М. Ф. ЕВСТАФИЕВА. Художник Е. А. МИХЕЛЬСОН. Технический редактор Г. Д. ДЕГТЯРЕВА. Корректоры М. И. ЭЛЬМУС, Л. А. АЙДАР-БЕКОВА

Тематический план 1978 № 52. ИБ № 22 Сдано в набор 02.03.78. Подписано к печати 06.06.78. Л-115471 Формат 84×108¹/₃₂ Бумага тип. 1. Литературная гарнитура. Печать высокая. Физ. печ. л. 5,25 Усл. печ. л. 8,82 Уч.-изд. л. 6,31 Изд. № 22. Зак. 341 Тираж 16350 экз. Цена 45 коп.

Издательство Московского университета.
Москва, К-9, ул. Герцена, 5/7.
Типография Изд-ва МГУ, Москва, Ленинские горы

Цена 45 коп.



Издательство
МГУ